

*Мещанин Адамейко*

МИХАИЛ КОЗАКОВ

14



М И Х А И Л К О З А К О В

# М Е Щ А Н И Н А Д А М Е Й К О

П О В Е С Т Ъ

*4-е издание*

*Издательство Писателей в Ленинграде*

№ 227

Отпечатано для Издательства Писателей  
в Ленинграде в количестве 5,300 экз. — 5<sup>1</sup>/<sub>2</sub> л.,  
2-й тип. Полиграфтреста НКПС им. т. Лозанкова,  
Ленинград, улица Правды, 15. Заказ № 9914.  
Ленорлит № 21602 Обложка художника  
М. Курнарского. Сдано в набор 25/XII 1931 г.  
Подписано к печати 13/II 1932 г. Формат бу-  
маги 72 × 110. Типографских знаков 71 680.  
Порядковый № 17. Ответств. ред. Н. Груздев,  
Технический редактор Г. Сорокин.

1932

## ГЛАВА I

Что больше всего заставляло чувствовать некоторую необычность в этом человеке, это — его возраст.

И впрямь, года Ардальона Порфирьевича Адамейко меньше всего могли служить объяснением его душевного состояния и убеждений: тогда, когда фамилия Ардальона Порфирьевича во второй раз и последний раз попала в газету,— ему было только двадцать девять лет.

Помнится, возраст Ардальона Адамейко нисколько почти не интересовал ни состав суда, ни защитника. Да это было, может быть, и понятно, потому что на скамье подсудимых сидел человек, никак не старавшийся отрицать своего преступления и говоривший о нем просто, очень подробно, и суд, убедившись в его вменяемости и совершеннолетия, вынес свой карающий приговор, вполне соответствовавший обстоятельствам дела...

Но тут же нужно сказать, что Ардальон Адамейко не убивал, хотя суд и не допустил ошибки, посчитав его убийцей.

Ардальон Адамейко не мог убивать,— в этом он по-своему остался верен своим убеждениям. Но о них он ни слова не сказал в самую ответственную минуту своей жизни, и потому судьба — три внимательных, честных человека — прошла мимо его возраста. Иначе, отсчитав последние девять лет, они вспомнили бы, что революцию Ардальон Порфирьевич встретил двадцатилетним юношей, никак не обещающим всей своей жизнью стать преступником — и таким отталкивающим.

Впрочем, мы значительно опередили события, о которых нужно рассказывать, и, может быть, тем самым вызвали уже у читателя явно недоброжелательное и враждебное отношение к Ардальону Порфирьевичу, которого хотя сами и не жалеем, но не можем представить так сухо и односторонне, как это было сделано в газетном отчете о его деле.

Поэтому пусть простит нам читатель это «забегание вперед» и вернется теперь к тому дню и часу, когда Ардальон Порфирьевич Адамейко завел случайное знакомство с безработным типографским наборщиком Федором Суховым.

Знакомство это состоялось так.

В августовский ветреный вечер, взмокший от тягучей и почти непрерывной дождевой сыпи, Ардальон Порфирьевич Адамейко медленно и — как сам потом рассказывал — бесцельно бродил по Забалканскому проспекту, расположенному недалеко от маленькой С-ской улицы, где жил. Был тот час, когда закрывались уже магазины, и последние покупатели торопливо уносили с собой различные свертки, пряча их заботливо — от дождя и проворных рук малолетних беспризорных — под полы пальто, в портфели или корзинки.

Возле каждого освещенного места, у каждой витрины и вывески торчали нищие, инвалиды, уличные попрошайки и просто любопытные молчаливые люди, неизвестно чего ждавшие у бемского стекла магазинов.

Верещал и мягко грохотал трамвай; уныло, и не веря уже в свой голос и в успех, выкрикивал вечернюю газету газетчик; изредка свистел провзительно, блюдя порядок, хозяин перекрестков и панели — постовой милиционер; сторонился с опаской прохожий пробегавших совсем близко желтых щупальцев-глаз хлюпающего по мокрой мостовой автомобиля.

Улица торопливо дышала.

Ардальон Порфирьевич, не торопясь, подходил к углу, чтобы свернуть уже в ту сторону, где расположена была С-ская улица. Нужно было перейти на противоположный тротуар, и, может быть, Адамейко это и сделал бы, если бы не одно случайное обстоятельство, — впрочем, такое обычное на улицах всякого большого города: на перекрестке, завернув моторный вагон на проспект, а прицепной оставив еще на боковой улице, застрял, нетерпеливо звоня, трамвай. Путь его — и всех прохожих тем самым — был загромажден испортившимся на некоторое время грузовиком, почти поперек стоявшим на рельсах.

Ардальон Порфирьевич невольно остановился на углу. Мог ли он тогда предполагать, что такое случайное и совсем обыч-

ное обстоятельство будет иметь потом в его жизни такое важное и роковое значение?

Ардальон Порфирьевич мог бы, конечно, как и многие другие прохожие, обойти сзади прицепного вагона и продолжать свой путь, но он никуда не торопился и потому этого не сделал. На самом углу помещалась ярко освещенная булочная-кондитерская, и у входа в нее, ежась под мелким дождем, шевелился такой же кустик людей, как и у других магазинов. Неожиданно, но вначале — без особого любопытства, взгляд Ардальона Порфирьевича остановился на двух маленьких фигурках, вплотную приставивших свои лица к стеклу вторых входных дверей. Стоя так, дети были защищены от дождя и ветра и были первыми, кому выходящие из кондитерской могли бы оставить подаваемое дешевую копеечную медь.

Так оно и было в большинстве случаев, и нищие, стоявшие у первых дверей на улице, не без основания могли ворчать по адресу этих двух маленьких фигурок, получавших в первую очередь щедроты от сытых покупателей. Более сильные, взрослые, давно бы могли отогнать детей от этого выгодного места, — и они это сделали бы, если бы их не сдерживало присутствие одного человека, молчаливо стоявшего неподалеку от витрины. В этом Ардальон Порфирьевич и сам убедился, наблюдая в случайную минуту обоих ребятшек.

Какой-то подвыпивший инвалид попытался занять «выгодное место» и прогнать своих маленьких конкурентов, но в ту же минуту поодаль стоявший человек, о котором мы уже упомянули, быстро подошел к инвалиду, решительно и не волнуясь оттащил его к первой входной двери, и Ардальон Порфирьевич услышал, как он коротким придушенным баском сказал:

— Детям — первый пропуск! Известно, законом даже...

— Зак-о-ном? А ты что, — инспектором над ними приставлен?..

— Справедливость! — и он опять вернулся к своему прежнему месту у витрины.

— Дитячий сунчик! — кивнул в его сторону инвалид, подходя к стоявшему близко Ардальону Порфирьевичу. — Гражданин, дозвольте папироску!

— Не курю.

— Жаль. Дитячий супчик, я вам говорю! — кивнул он опять на человека у витрины, вынимая из кармана шинели коробку папирос. — Позорная специальность, я вам скажу. Теперь много нетих развелось паразитов: пятилетка какая-нибудь жалостная слезно у граждан вымолит, а он у ей отбирает для своих взрослых надобностей. Справедливость! Видал, какой Карла-Марс?! Вот что я вам скажу, гражданин...

Но Адамейко его уже не слушал.

Он мог беспрепятственно продолжать свой путь, освобожденный уже трамваем, но это, очевидно, не входило теперь в его намерения. Он повернулся спиной к инвалиду и одну минуту пристально всматривался в человека, так уверенно и решительно защитившего только что нищенствующих ребятишек.

Неизвестно, что сделал бы потом Ардальон Порфирьевич, — может быть, мгновенно он перестал бы думать об этом человеке и завернул бы за угол С-ской улицы, — но стоявший у витрины подошел вдруг опять к ребятишкам, только что получившим милостыню от нескольких посетителей кондитерской, и Ардальон Порфирьевич вновь услышал его густой, чуть рокочущий голос:

— Сдавай, Галька, а то еще потеряешь. И потом монета, может, грязная бывает: ребенку, говорят, не заразиться б!.. Давай, девонька... И ты, сынок.

Он отобрал у них деньги и отошел на прежнее место.

«Бойтся заразы, каков?!» — усмехнулся про себя удивленный Ардальон Порфирьевич. — «Вот и узнаем-с»... — почти уже вслух проговорил он. — «И насчет твоей справедливости... да... Каков ты...». Он вдруг подошел к витрине и, чуть пригнув в поклоне голову, обратился к неизвестному:

— Адамейко, Ардальон Порфирьевич Адамейко. Это я... Заинтересован очень, потому три минуты бескорыстно наблюдаю...

— Не воспрещается, — коротко, и словно не удивившись, ответил тот. — И продолжать можете, коли других занятий у вас не осталось.

Усмехнулся и тотчас же озабоченно посмотрел в сторону стоявших на посту детей: сегодня им шла удача, им и кондитерской.

— Адамейко я...— повторил опять для чего-то Ардальон Порфирьевич.

— Слышал уже. И безразлично! Поверьте на-слово! Адамейко или, как моя,— Сухов,— все едино безразлично. Кабы польза от этого!

— Нетерпеливость — ее враг. Враг! — заметьте... Вот ребяташки... Знакомые-то ваши, Галочка и мальчик... Они, хоть и простудиться и заразиться могут, но к терпенью приучаются. И потому польза видимая и для других... Для вас, к примеру, в данном деле!

Сухов бросил на него сердитый взгляд и настороженно намурил брови. Адамейко заметил это.

— Я это все говорю — на честное слово, поверьте! — совершенно бескорыстно. Ибо какая тут может быть для меня корысть? — продолжал Ардальон Порфирьевич, изобразив свою незаинтересованность выразительным поджатием губ. — Сами понимаете: если б был я, скажем, советский смотритель по детским делам или по борьбе с корыстной эксплуатацией чужих детей...

— Дети — мои, родные! — не сдержался Сухов.

— ...или даже собственных, о чем в газетах обстоятельно пишут... — продолжал Адамейко. — А то я..: кто я? Посторонний частный гражданин — Ардальон Порфирьевич — и больше ничего!.. Может, и чувство у таких не хуже; может, какой-нибудь Адамейко тоже хочет помощь оказать... Я вот хочу, хоть на кондитерскую средств не имею. Я вот, Ардальон Порфирьевич!..

— Ар-даль-он... — вдруг усмехнулся Сухов, растеряв хмурь бровей. — Имя, извините, гражданин, с животного вроде... будто пес здоровый, дог барский. А тут вдруг... такая простая фигура!

Он, улыбаясь, окинул взглядом худенького, костистого Адамейко. Тот тоже ответил улыбкой:

— Не отрицаю вашей мысли, ибо остроумна. Но жена моя в шутку и ласково называет еще «Медальон... Медальончик». Впрочем, последним словом весьма редко. Так вот... я и говорю...

— Чего вам от меня надо? — оборвал вдруг его сердито Сухов. — Цель какую имеете в разговоре со мной?..

— Никакой — чтоб она вредной была, поверьте... и откровенность свою не запрячу про себя. Удивили вы меня некоторым разговором с соперником ваших детей... с инвалидом. Слово вы такое сказали, сами, может, это слово по-настоящему не замечаете. А слово это — не холодной патрон. Нет! Риск опасный в этом слове, порох-слово, ей-ей!..

Дождь вдруг заметно усилился, сгоняя пешеходов к выступам стен, к воротам, под навесы.

— Пойду! — бросился к соседним воротам Сухов. — Холостой тут разговор с вами...

В этот момент обстоятельства складывались так для Ардальона Порфирьевича Адамейко, что он мог бы еще вполне избежать повстречавшегося в этот вечер с ним рока, но такова уже судьба этого человека, делавшего тогда все для того, чтобы себя погубить.

Читатель, прочтя эту повесть до конца, возможно, и не ошибется, сказав, что Ардальон Адамейко все равно не мог бы закончить свою жизнь нормально, так как он шел к своему концу в некотором смысле совершенно последовательно и неуклонно; читатель напомним нам и общие убеждения Ардальона Порфирьевича и отдельно — то, что мысль<sup>о</sup> о квартире, где была ласковая белая собачка-шпиц, еще раньше существовала у него, до встречи с Федором Суховым, — и многое другое, о чем сейчас не станем упоминать.

Но все же в защиту Ардальона Адамейко нужно признать все эти доводы читателя только предположительными и теперь только пожалеть, что в этот вечер Адамейко и Сухов расстались друзьями и что Ардальон Порфирьевич узнал точный адрес безработного наборщика. Нет, именно этот вечер сыграл решающую роль в дальнейших событиях!..

Но читатель, дошедший только до этого места в рассказе, справедливо упрекнет автора в очередном «забегании вперед», в упоминании обстоятельств, которые ни по чему еще не знакомы читателю, — и мы возвращаем потому его внимание вновь к первой встрече Ардальона Адамейко и Федора Сухова.

## ГЛАВА II

— И вы сюда же? — удивился Сухов, увидев под аркой очутившегося рядом с ним Ардальона Порфирьевича. — Точно сыщик какой, ей богу!

— Цените человеческое внимание, вот что! — сказал как-то серьезно и правдоучительно Адамейко. — Я вам уже сказал, что Ардальон Порфирьевич Адамейко не казенное лицо, а обыкновенное, гражданское.. И без всякой корысти, о чем можете убедиться при ближайшем знакомстве: иначе имени-отчества своего вам бы сразу не назвал и не оставался бы так долго под неприятным дождем. Заинтересовали вы меня по-человечески только, и прошу от случайной дружбы со мной не отказываться.

— Работу дадите, что ли? Жрать хочется — вот что! — грубо и с внезапной сипотдой в голосе спросил вдруг Сухов.

— К сожалению, не при советской службе я, — развел руками Ардальон Порфирьевич, — такой же сам, как и вы, беспризорный в вопросах заработка.

— Эх, трепач — да и только! — досадливо и хмуро откашлялся Сухов. — Дружба от человека — не в поле рожь: зерном не накормит. У нашего брата-пролетария дружба — занятие обыкновенное и бесплатное — вот что! — улыбнулся он уже.

Минуту Адамейко, казалось, что-то соображал. Он даже отодвинулся немного от своего нового знакомого, и можно было подумать, что ответ того показался обидным Ардальону Порфирьевичу: он на некоторое время умолк, — к искреннему удивлению своего собеседника, привыкшего уже за это время к его назойливой речи.

Но Адамейко не собирался вовсе прерывать своего знакомства. Он, — проверив рукой, лежат ли в правом кармане две рублевые бумажки и несколько монет серебра, — подошел опять к Сухову.

— Не при советской службе я, вновь повторил он свою прежнюю фразу, — но если вы сразу же пользу от знакомства ищите, — могу вам ее от чистого сердца предложить. Вот какое дело..

Ардальон Порфирьевич выглянул на панель и вернулся тотчас же к Сухову.

— Ребятишки-то ваши озлбиши совсем, наверно: ребятишки-то махонькие! — продолжал он разговор. — Ну, еще час промучаются. Ведь мученье для них, не отрицаете? А сколько за час перепасть может? Гривенник — не больше? А я вот двадцать копеек дам сейчас вашей Галочке, дочке, а она вам отдаст..! Только, кончайте вы дело на сегодняшний вечер! Уважьте мое внимание! И сам я хоть напитков не потребляю, однако с радостью угощу вас на целковый в пивной... за приятным и интересным для меня разговором. Помните только вы: корысти во мне никакой ровно!..

— Пиво — не плохо, — крикнул одобрительно Сухов. — Гм, почему не угоститься! Только как же Галку и сынка домой доставить: непривычные они у меня домой без отца возвращаться... — И он вопросительно посмотрел на Ардальона Порфирьевича.

— Вот уж не знаю как... — пожал тот плечами.

— Ну, не беда... с отцом ведь... — вслух ответил своим мыслям оживившийся Сухов. — Полчасика посидят с отцом, хлеба пожуют... Чаю закажу им, — погрееются. Так пойдем, что ли, Ардальон Порфирьевич? — впервые обратился он по имени-отчеству к Адамейко.

— Жду... — жду, — кивнул тот головой.

Через минуту они сидели за столиком ближайшей столовой-пивной. Прежде чем усесться, Адамейко вынул из кармана двугривенный и протянул его маленькой Гале:

— Возьми себе на баранки. Много баранок купишь, а?

Девочка молча взяла монету и тут же передала ее рядом сидящему отцу.

Теперь только, при свете, Ардальон Порфирьевич смог хорошо рассмотреть своего нового знакомого.

Сухову было лет под сорок. Скуластое, но узкое лицо его давно уже, очевидно, не чувствовало прикосновения бритвы и заросло оттого на щеках мелко вьющимся, пепельного цвета, волосом, заканчивавшимся книзу остренькой, но еще бесформенной короткой бородкой. Ардальон Порфирьевич впоследствии уже заметил, как Сухов часто подергивал ее

при разговоре — и не пальцами, а словно щипчиками, — сведенными друг к другу широкими и неровными ногтями большого и указательного пальцев.

Походило на то, что этими щипчиками своих ногтей он хватает каждый волосок для того, чтобы его осторожно выдернуть, и каждый волосок оттого казался в его подбородке мелкой занозой.

На левом глазу было желтоватое, как кусочек спелой сливы, бельмо, и правый потому выглядел большим, чем он был, — красивый темнокарий, он бегло, но внимательно всматривался теперь в Ардаљона Порфирьевича. Из-под кожаного, с сильно примятым козырьком, картуза, сползшего заметно набекрень, выбивались наружу густые пряди волос, закрывшие почти наполовину смуглый выпуклый лоб.

— Неужто не пьете? — спросил с короткой улыбкой Сухов, когда на столике перед ними очутились две бутылки пива и такое же количество стаканов.

— Не имею привычки: по внутреннему убеждению не употребляю.

И словно — чтобы наглядней показать это, Ардаљон Порфирьевич поставил дном кверху свой стакан.

Прежде чем налить себе из бутылки пива, Сухов бережно налил в два блюда чай и пододвинул его детям, старательно грызшим теперь черствые, затвердевшие баранки.

— Можай, Павлик, в чай: мягчит всегда горячее... Эх, тютелька ты моя малая!.. Так не пьете, говорите, по убеждению? — обратился он вновь к Ардаљону Порфирьевичу и отпил несколько глотков пива. — Жаль!..

Сухов старался теперь быть разговорчивым; он словно хотел этим выказать благодарность и внимание своему случайному знакомому.

— И по убеждению?.. Скучный взгляд у вас, товарищ, на нынешние обстоятельства! И непонятно, между прочим, товарищ: коли убеждения ваши такие, — почему так дружески свели меня в это самое что ни на есть питейное место?

— Все вопросы... вопросы... вопросы! — закивал оживленно Ардаљон Порфирьевич. — Вопросительные знаки человек друг другу ставит. И отвечай... и отвечай! Как мошкара какая —

эти вопросы! На один ответ дашь, — а тут же из самого же ответа два новых вопроса на ум лезут. И друг дружке, будто мальчуганы, подножку ставят!.. А ты обороняйся... знай только, что обороняйся всю свою умственную жизнь! Я за этим уже давно слежу...

— Без занятий вы, значит, человек... без трудного ремесла, думаю, — посмотрел пристально на своего собеседника Сухов. — Я ведь очень даже просто спросил насчет вашего убеждения, а вы, гляди куда, загнули! Я, может, и сам, поди ты, какие вопросы иной раз на уме имею...

Он вдруг оборвал свою речь и, как показалось Ардальону Порфирьевичу, загадочно и свысока посмотрел на него. Остаток пива в стакане Сухов выпил одним широким и торопливым глотком.

— Имеете? Ну, и что же?.. — нетерпеливо и с любопытством спросил Адамейко.

— Ничего! Про себя держу их... в карманы прячу, чтоб ни себя, ни людей не морочить! Подчиняюсь, дорогой гражданин, обстоятельствам. Дисциплины, как говорится, придерживаюсь..

— А я все же думаю, что себя самого никто в свой карман не спрячет! — убежденно и с горячностью возразил Ардальон Порфирьевич. — Обязательно личность вылезет, вы это знайте... Карман этот самый прорвется, — и покатится человек то ли копейкой и гривенничком, или полтинником: смотрите, мол, какой я есть, какая мне цена на этом свете! Так вот и покатится на панельку — глядите вот все, подберите и приспособьте, куда следует, людские копейки.

— Умно, да ехидно говоришь! — перешел вдруг на «ты» внимательно слушавший Сухов. — Понимаю! Ты и мне уж свою цену поставил, когда повел сюда с панели?! Так и привинул в уме: «Целковый на самого, да копеек двадцать на его детишек...» Другой человека покупает на убийство или девуку — для удовольствия, а ты для того, чтобы странности свои да ум показать! Ловец особенный!.. Да только врешь ты, потому что человек я рабочий!.. — злобно и раздражительно ударил он по столу. — Этому не бывать!

Галка и Павлик испуганно вздрогнули и, часто моргая ресницами, следили за отцом. Вздрогнул и Ардальон Порфирьевич. Он настороженно смотрел, как поврежденный глаз Сухова напряженно метался под нависшей угрюмой бровью, как будто пытаясь сбросить мешавшее ему, прилипшее желтеньким кусочком бельмо. И — странное чувство! — Ардальон Порфирьевич старался теперь смотреть только на это бельмо, словно оно — слабостью своей и ненужностью для Сухова — защищало неволью его, Адамейко, от следившего за ним озлобленным взглядом собеседника.

На короткое мгновение Сухов замолчал, и Ардальон Порфирьевич сообразил, что лучше ему не начинать первым разговора, потому что возражение сейчас или вопрос Сухову может опять вызвать у него раздражение или злобу, чего меньше всего хотел теперь Ардальон Порфирьевич. Он выдержал паузу.

— Нет, этому не бывать, — вдруг как-то устало и тихо сказал Сухов. — Должно притти изменение, это факт! — непонятно уже добавил он. — Четвертый стакан уже пью, спасибо тебе, Ардальон Порфирьевич... Хороший ты человек, ей богу!

Он тихо и добродушно засмеялся, и красивый темнокарий глаз его стал мягким и лучистым.

— Павлик, тютелька ты мой милый, окреп, что ли, от чая? Галка, подлей ему из стакана... Стебелечки, а?.. Дети! — с отцовской заботливостью кивнул на них Сухов. — У тебя, Ардальон Порфирьевич, тоже потомство?..

Адамейко отрицательно кивнул головой.

— К чему это вы два раза сказали: «этому не бывать»? Какой в том смысл?.. — решил он опять заговорить.

Сухов отодвинул от себя стакан, звонко и коротко ударившийся о пустую бутылку.

— Точка! — сказал он, чуть хмурясь, и слово было сухо и коротко, как звук стекла, — и слово слилось с ним. — Точка, дорогой гражданин!.. Никаких мне больше вопросов! Ни-ни.. Опутал ты меня ими за полчаса, как колючей проволокой... «Что, да почему, да как?»! Может, ты следователь?.. Так я все равно тебя теперь не боюсь... хо-хо-хо-о!

Этому не бывать... не боюсь!.. — раскалывался, как орех, его уже охмелевший заметно, рокочущий басок.

«Странно... Он словно чего-то боится», мелькнуло у Ардальона Порфирьевича.

— Нет, я знаю, — ты штатский человек, только странный какой-то, ей богу! — продолжал Сухов. — Я только прошу тебя, дорогой гражданин, не заставляй меня разгадывать твои вопросы... Слышь? И говори... для меня понятней, а? Давай так — для дружбы! Подошел ты, брат, ко мне на панели и сразу фамилию свою! К чему... сразу? А потом про слово какое-то... а? про какое ты слово? Порох, говоришь, слово... Сам ты, мол, Федор Сухов, слова этого не понимаешь, — а слова-то самого не говоришь! В пивной деньги платишь, а сам стаканом брезгуешь... Что? Вру я? Ну, скажи, дружок? Все загадки, все загадки ставишь... Занятный ты... Занимательный ты человек!

Он дружелюбно уже рассмеялся; улыбнулся широко и Адальон Порфирьевич. Улыбнулся, потому что в словах Сухова почувствовал какую-то похвалу себе — неожиданную и доверчивую.

«А все-таки он чего-то боится... — опять подумал он, глядя на Сухова. — Чего только?..»

— Ну, что скажешь? — продолжал улыбаться Сухов. — Говори, а то стакан мне осталось и — баста! Тютелька-то мой, Павлик, гляди, совсем носом клюет. Шибздяк ты мой, потерпи маленько! Кормитель мой... ах! — криво и жалобно усмехнулся он. — Ну, что ж скажешь?.. — опять повернул он голову в сторону Адамейко.

— Ничего не скажу... сейчас ничего не скажу, — задумчиво ответил Ардальон Порфирьевич. — Пей, — неожиданно для самого себя обратился он на «ты» к Сухову, — пей, да будем расплачиваться.

«Что-то у него на уме есть особенное, прячет что-то... Узнаю... непременно узнаю!» — не покидала его уже завапшавшая вдруг мысль. И Ардальон Порфирьевич отвел свой взор от Сухова и с деланным любопытством начал оглядывать пивную.

Сухов тоже стал оглядываться по сторонам, точно искал теперь среди присутствующих своих знакомых. Он сильно

наклонился вперед, голова его часто вздрагивала от подпрыгивающей к горлу икоты, а щипчики длинных и острых ногтей тоже вздрагивали и опускались вниз, соскользнув с захваченного ими коротенького волоска бородки. Но он опять схватывал его прижатыми друг к другу ногтями, — и опять казалось, что хочет Сухов мелкой и осторожной хваткой выдернуть занозу-волос...

В пивной было много народа; низенький подвальчик со сводчатым потолком был грузно забит людьми, принесшими сюда сырой и острый запах ночной улицы и нечесаного простонародья. Оно было бестолково-шумливым, неповоротливо-отяжелевшим, — словно оплыл низенький подвальчик клейким месивом людских спи и грудей. Стены пивной взмокли от тяжелого кислого выдыха людей и густо покрылись водянистыми нарывчиками пота, как и воспаленные лица сидящих за столиками.

Были сосредоточенно-деловиты лица хозяев за стойкой, нервные руки, и коротко-быстра походка официантов, и тиха была уставшая сонная муха на колпаке из марли, прикрывшем щербатое блюдо и на нем — бутерброды и воблу.

— Пойдем! — притронулся к плечу Сухова Ардальон Порфирьевич, расплачиваясь с официантом.

Он первый встал. Встал и Сухов.

— Айда, кормильды, домой!.. Вашу мать все равно и сегодня не пересидим... — глухо и непонятно обратился он к детям. — Спасибо, Ардальон... Друг ты мне, ей богу... Ишь, тютелька-то мой, Павлик, совсем желтым стал от здешнего воздуха... Пяток ему всего миновал... кормильцу, — криво и жалостливо улыбнулся он Ардальону Порфирьевичу.

Сухов взял за руки обоих детей и, слегка пошатываясь, стал пробираться с ними к выходу. У самых дверей, на верхней ступеньке, он поднял кверху лишайчатую бархатку своего пиджака, плотно нахлобучил картуз и, открывая дверь, пропустил вперед ребятишек. Адамейко шел сзади него.

Дождя уже не было. Таяли уже и облака, — синее небо открыло свои серебристо-желтые далекие родники — ползкие августовские звезды... Шла теплынь, и мягкий, как пух, ветер...

Путь к перекрестку шли молча. Вдруг посредине дороги, у фонаря, маленький Павлик приостановился, зашатался и судорожно сжал руку отца. Если бы не эта рука, он, вероятно, упал бы на землю: он застонал, и вся его маленькая круглая фигурка болезненно скорчилась.

— Чего ты?.. — пробормотал испуганно Сухов.

Мальчику было дурно, его одолела неожиданно рвота.

— Голову ему держи!.. — вскрикнул озабоченно Ардальон Порфирьевич. — Голову нужно... ему легче будет!..

Галка растерянно заплакала. Сухов быстро наклонился над больным ребенком.

Через минуту мальчик оправился и только тихо и жалобно стонал, прислунаясь своей фигуркой к ногам отца.

— Ишь, малец, — чужими харчами хвастаешь! — угрюмо усмехнулся вдруг Сухов, глядя на землю. — Твоими, сегодняшними, Ардальон Порфирьевич!..

— Голова у него от плохого воздуха там не выдержала... Возьми его на руки... — посоветовал Адамейко.

Сухов поднял мальчика.

— Ласковый ты, ей богу... — сказал он, протягивая на прощанье руку Ардальону Порфирьевичу. — А я было подумал про тебя раньше... Ну, прощай, товарищ... Заходи, если охота будет. На Обводном я...

И он назвал свой адрес.

— Приду... обязательно приду, — сказал Адамейко. — И скоро даже...

Он попрощался и завернул за угол.

...Через день он снова увидел Федора Сухова — и тоже — при не совсем обычных обстоятельствах.

### ГЛАВА III

Ардальон Порфирьевич соврал Сухову, сказав, что жена называет его иной раз ласковыми словами: «Медальон», «Медальончик».

«Медальончик» — такого слова Адамейко ни разу не слышал по своему адресу из уст своей жены Елизаветы Григорьевны. Что же касается первого — «Медальон», то иной

раз Елизавета Григорьевна и впрямь обращалась так к своему мужу, но и тогда слово это не заключало в себе ни особенной ласки, ни даже заботливости или внимания. Наоборот, это слово, — так, как оно произносилось женой Ардальона Порфирьевича, — открыто выражало недовольство, раздражение и даже некоторую враждебность, которую в тот момент, очевидно, Елизавета Григорьевна питала к своему мужу. В таких случаях слово «Медальон» теряло свою ласковую и интимную звучность и значение и должно было скорее означать «вериги», которыми судьба наделила вот Елизавету Григорьевну Адамейко...

Такое раздражительное подчас отношение этой женщины к Ардальону Порфирьевичу могло, очевидно, вызываться двумя обстоятельствами, известными всем обитателям дома. Первое из них — наружность Ардальона Адамейко, и второе — тот образ жизни, который вел этот человек. Может быть, к этому прибавилось бы и третье — образ мыслей Ардальона Порфирьевича, но он никогда не делился ими со своей женой, и отношение к ним Елизаветы Григорьевны было неизвестно.

Внешность, — как и убеждения Адамейко, — не соответствовала его молодому возрасту. Впрочем, лучше всего читатель убедится в этом в свое время, когда вместе с Ардальоном Порфирьевичем посмотрит в зеркало, стоящее в квартире вдовы покойного подпольного адвоката Николая Матвеевича Пострункова — Варвары Семеновны: лицо Адамейко тогда не претерпело никаких почти изменений и было таким же, каким привыкли его видеть все встречавшие его часто на С-ской улице.

Времяпровождение же Адамейко в значительной степени зависело от того, что уже известно нам из его разговора с Федором Суховым: Ардальон Порфирьевич «не находился при советской службе» и был, как и его новый знакомый, безработным. Весной расформировали учреждение, где работал он старшим счетоводом, и Ардальон Порфирьевич остался без службы. Елизавета Григорьевна жаловалась всем в доме на своего мужа, никак не старавшегося, по ее словам, раздобыть себе новую работу и предпочитавшего, очевидно, жить на те средства, которые вносила в дом она, Елизавета

Григорьевна, торговавшая на Клинском рынке галантереей и мелким товаром.

В правоте Елизаветы Григорьевны жильцы дома не сомневались уже по одному тому, что Адамейко никогда ее в разговорах и не оспаривал, — это он доказывал всем ежедневно. Утром, когда Елизавета Григорьевна уходила к своему ларьку, на рынок, выходил из дому и Ардальон Порфирьевич. Проводив жену и проскучав некоторое время за прилавком, он, — как только начинали подходить покупатели, — покидал рынок и, пробравшись сквозь толпу на проспект, начинал свой день.

И начало этого дня, 28 августа, когда произошла вторая встреча его с Федором Суховым, ничем почти — до этой встречи — не отличалось от предыдущих, и краткое описание его может облегчить читателю увидеть Ардальона Адамейко таким, каким видели его в продолжение дня различные прохожие на улице или жильцы общего с ним дома.

Впоследствии, на суде, прокурор живо интересовался, как говорил, «распорядком дня» Ардальона Порфирьевича, расспрашивал усердно о каждой мелочи — о привычках подсудимого, о разговорах его, о встречах с ним его знакомых. Помнится, прокурор своим усердием вызвал недоумение и даже невольное раздражение у присутствовавшей в зале суда публики, когда непонятно для всех осложнил свои расспросы, предложив свидетелям и Ардальону Порфирьевичу рассказывать подробно про общение его не только с людьми, но и... с животными.

Действительно, вначале прокурорские домогания мало были понятны слушателям этого, по существу, обычного процесса; кто-то в публике не без злой иронии говорил тогда, что усердие прокурора может дойти даже до того, что он вот-вот скоро будет просить суд о допросе того самого... белого шпица, с которым был так ласков и кормил всегда сладостями подсудимый Адамейко.

Но предстать собаке пред судом, вопреки насмешкам кой-кого, не понадобилось, а прокурор своего же все-таки добился и доказал суду, что обвиняемый действовал бесспорно с заранее обдуманым намерением. Прокурорские доводы были

многие убедительными, но он не был целиком прав, как это увидит читатель позже.

Вернемся, однако, к описанию дня 28 августа.

Как всегда, — прежде чем отправиться в ближайший маленький скверик, где просиживал часто по нескольку часов, — Ардальон Порфирьевич купил на углу газету и, медленно и вяло шагая, порой натываясь на встречаемых прохожих, — тут же, на улице, начал внимательно ее читать. Газеты Ардальон Порфирьевич читал, как никто, аккуратно и добросовестно, и можно было, пожалуй, удивляться тому интересу, который почти с одинаковой силой проявлял этот человек к вопросам политики и к обычной газетной хронике происшествий.

Частенько по вечерам он заходил в контору домоуправления и подолгу рассказывал присутствовавшим различные новости. Вдвойне и по-особенному любопытны были они в передаче Ардальона Порфирьевича!

Если он рассказывал о каком-нибудь случае самоубийства, то тут же непременно сообщал, что он давно уже подметил молодой возраст и принадлежность почти всех самоубийц к одному социальному классу, на знамени которого — самое горячее утверждение новой жизни...

Когда делился впечатлениями о теоретических спорах среди коммунистической партии о началах демократии, — неожиданно называл все эти споры «вздором», «праздной болтовней», которая вот и создает угрозу для самой партии.

А если заходила речь о дороговизне или о перебоях в хозяйстве страны, так же неожиданно заявлял: «А крестьянам надо землю продавать обязательно. И чтоб с купчими крепостями. Эх, если б Ленин был жив!..»

Неожиданные, а иногда и прямо противоположные заключения, делавшиеся Ардальоном Адамейко по поводу различных вопросов, — в общем таили все же в себе зерна того отношения к новой жизни России, которое в наши дни ожесточается с мыслями о поражении революции...

Но, со всем тем, очень часто Ардальон Порфирьевич выказывал себя в разговоре с некоторыми людьми так, что пугливые собеседники могли посчитать его не только большим, но и «страшным анархистом». Таким он, например,

показался в этот день своей собеседнице в скверике, хотя она и знала, что до сих пор он не был еще повинен ни в одном из тех действий, о которых теперь говорил.

Придя в скверик, Адамейко нашел никем еще не занятую скамейку на солнечной стороне и сел на нее, дочитывая утреннюю газету. Несколько минут он был погружен в это занятие и не сразу даже ответил на приветствие по своему адресу, дважды повторенное:

— Здравствуйте, Ардальон Порфирьевич... Вот и сегодня встретились. Присяда тут возле вас на солнышке...

Адамейко поднял голову.

— А-а... здравствуйте, здравствуйте. Местечко есть, — почему не присесть...

Женщина села рядом.

— Частенько встречаю, батюшка, частенько... Не знаю я вас и Елизаветы Григорьевны, — подумала б, что не иначе, как свиданье кому-нибудь тут назначаете... хэ-хэ-хэ...

Она засмеялась коротким кряхтящим смешком.

— Но знаю, батюшка, что жену любите и человек без теперешних подлостей... Нравственный человек! Ну, Рекс, пойдн... пойдн погуляй, ишь, юла какая!

Она отстегнула цепочку от ошейника, и собака, прыгавшая и скулившая у ее ног, почувствовав землю, бросилась к кустам. Игриво и радостно визжа, она то кружилась возле скамейки, то вскакивала на колени своей хозяйки или тыкала свою забавную мохнатую морду в ноги Ардальона Порфирьевича. И он, нагнувшись, ласково теребил ее густую шерсть, и собака норовила тогда дружески лизнуть его в лицо.

— Ишь, приятеля встретил! Балуете вы его, Ардальон Порфирьевич, — он к вам и ласкается. Небось, к кому другому так не подкатится. Собака, — она ведь тоже свое дело понимает, по-своему справедливо поступает... Рекс! Рекс, пойдн сюда... пойдн к хозяйке!

Адамейко поднял голову.

— Может быть... может быть! Нет, не может, — вдруг криво усмехнулся он и посмотрел на свою собеседницу. — Вот она, собачья справедливость: накорми ее — подкупи! — она и продаст всю свою дружбу с хозяином. Вот-те и выйдет

ему ендондыршиш! Там, где пряник в руках, — там справедливость в козырях не ходит! Это вам вопросик и не молодой и не маленький... Возраст ему, может, от самого рождества Христова считать нужно, и вопросик не только собачий, но и для людей по эту минуту — самый главный. Кровотоочивейший — как раня!.. Например, вот...

Адамейко вновь посмотрел на свою собеседницу, собираясь продолжать свою речь. Но женщина сидела тихо, не выказывая никакого внимания к его словам, и подставленное под солнечные лучи дряблое, немолодое лицо, лениво сожмурившее вылинявшие серые глаза, было сейчас бездумно. Ардальон Порфирьевич заметил это и, оборвав себя на полуслове, вдруг умолк.

Кто хорошо знал Ардальона Порфирьевича, тот мог бы заметить теперь, что он или очень возбужден, или на кого-то сердится, — и в том и в другом случае он громко втягивал в нос воздух, верхняя губа при этом нервно кривилась и сбегалась улиткой в уголок рта, а тонкие ноздри его, то суживаясь, то непомерно раздуваясь, создавали впечатление, будто маленький птичий нос его движется.

Но женщина, сидевшая рядом, хотя и знала хорошо своего соседа по дому — Ардальона Порфирьевича, никак не могла заметить этого; не видела она и того, как внимательно и с едва скрываемой недружелюбной усмешкой рассматривал ее теперь Адамейко: знакомая его лениво, и словно отяжелев, грузно облокотилась на спинку скамейки (казалось, что тело ее утеряло костяк), стареющие руки бессильно и неподвижно лежали на коленях, и лицо было дремотно.

День был теплый, даже жаркий, — а на ней был плотный суконный жакет, застегнутый на все три пуговицы, синее шелковое кашне и на руках — замшевые перчатки, причем на обеих («неряха все-таки!» — подумал Адамейко) были сорваны кнопки.

Некоторое время оба молчали. А когда соседка, размякнув на солнце, протяжно и довольно зевнула, открыв свой рот и обнажив неестественно белые вставные зубы, и на глазах ее выступили пустые, безжизненные слезы довольства и безделья, — Адамейко уже злобно посмотрел на нее и хотел встать и уйти.

Но женщина, очевидно, вспомнила о нем и так же лениво и протяжно, как и зевала, проговорила:

— Что ж это вы, Ардальон Порфирьевич, такой неразговорчивый сегодня?.. Новость какую-нибудь рассказали б?.. Рекс, поди сюда, Рекс!.. — поманила она к себе бегавшую поодаль собаку.

— Новость? какую ж вам новость?.. — спросил Адамейко. — И чтоб интересную, конечно, — продолжал он медленно, словно вспоминая о чем-то.

— Угу-у... — зевнула опять, улыбаясь, собеседница. — Интересную... Рекс, сиди спокойно!

— Есть новость! — таинственно придвинувшись, сказал глухо Адамейко. — То есть, нет ее еще сейчас... но будет.

— А что?

— Людей резать будут! — твердо и убежденно сказал вдруг Адамейко. — Не миновать этого.

И он так же твердо, в упор посмотрел на свою соседку.

— Христос с вами!.. — громко вскрикнула она. — Вот еще скажете тоже!.. А милиция... а войска как же?.. Или по-вашему..

— Милиция будет арестовывать — это всем понятно, — прервал ее Ардальон Порфирьевич и, не меняя устремленного на нее взгляда, добавил: — а резать все-таки будут, потому что необходимость такая... И это к лучшему. Вот вам и новость! — уже слегка улыбнулся он одними глазами, когда на лице собеседницы не осталось и следа недавней апатии и дремотности.

И, действительно, если Ардальон Порфирьевич хотел вывести ее из такого состояния, — удалось ему это наилучшим образом: руки в замшевых перчатках затеребили синее кашне, словно оно было до сих пор неаккуратно надето; те же руки нервно расстегнули, потом вновь застегнули на две пуговицы плотно обтягивающий тело жакет, а вялость в лице собеседницы сменилась мгновенно испугом.

— И откуда вы знаете такие вещи! Кто вам сказал про это, Ардальон Порфирьевич?.. — в свою очередь наклонилась к нему соседка. — Неужто красноармейцы и милиция допустят?.. а?.. Как вы думаете?.. Ведь не позволят им..

— Кому это — «им»? — продолжал усмехаться Адамейко.

— Ах, ты, господи, да разве я знаю, — кому?! Ну, налетчикам, организации какой-нибудь... Ведь помните ж... шайку-то Леньки Пантелеева, бандитов этих, не пощадили, чай? Порядок в городе навели, о населении, спасибо им, позаботились... хотя и большевики! Ну, так как же это вы теперь, Ардальон Порфирьевич?..

— Ни-икак! — щелкнул он пальцем по газете.

— Как так? Не пойму я вас что-то, батюшка... — с досадой сказала собеседница. — Ох, какой вы путаный человек! Кто ж это и кого, по-вашему, резать собирается? Или война с поляком начнется... Может, в газете есть про это? Или, вообще, пошутили только?..

— Пошутил... пошутил! — неожиданно виноватым тоном сказал Адамейко, как будто обрадовавшись подсказанному слову.

— Хороши шуточки! — неприятно воскликнула женщина. — Вы уж простите меня, Ардальон Порфирьевич, но только такая забава может прийти в голову по причине полного вашего безделья! Уж такие фантазии вам в голову приходят, что...

— ...страшно от них, потому что на стоящим пахнут?! — невозмутимо перебил ее Адамейко. — Я вот тоже так думаю: в фантазиях этих самый наибольший страх и содержится. Но почему так это — вот вопрос! — оживился вдруг Ардальон Порфирьевич. — Я вот, Адамейко, своим умом дошел до объяснения своего дела... С в о и м, заметьте... Вот так точно, как сама травка эта незаметно растет: сама по себе... Незаметно... — повторил он вновь это слово, задержавшись взглядом на траве, на которой возился теперь беззастенчивый Рекс. — Но потому, что травка — вот такое для нее и внимание!.. — с горечью махнул он рукой в сторону загребавшей землю собаки.

— Ох, уж вы известный у нас на весь флигель философ и фантазер, батюшка!.. — успокоившись, почти сочувственно улыбнулась собеседница.

— Страшная вещь — фантазия, — продолжал свою мысль Ардальон Порфирьевич. — И чем, заметьте, страшная. А тем,

что все то, что тебе в фантазиях представится, — обязательно в жизни сбудется! Так сказать, шуточка мысли с серьезными последствиями... Вот, к примеру сказать. Сидим это мы с вами тут тихо и смиренно, и все будто по-настоящему: и солнышко светит, и миллионер ходит, и пищеварение, простите, нормальное... И вот смотрит на все это человек, теплым днем наслаждается, пропельмени на обед вспоминает, в кино ему, например, еще захочется, а потом — в постель супружескую, — смиренно все и по-настоящему. Так?.. И вдруг ему, этому человеку, — фантазия в голову! Мышка этакая — юрк-да-юрк! А глаза у человека большими становятся изнутри, острыми, и видят они вдруг то, чего пальцы еще пощупать никак не могут. Ну, вот, я, например... Сказал это я вам «людей будут резать, и есть тому необходимость...» Так. Злой шуткой вы эти слова посчитали. Может, и шутка это и фантазия сейчас — и для вас и для меня. Потому что ни меня еще не зарезали, ни вас...

— Упаси, господь, Ардальон Порфирьевич!.. Кому мы нужны-то с вами?.. — встрепелась соседка.

— То-то же, что никому не нужны... — повторил за ней Адамейко. — Вот, скажем, подумали именно так вы про меня, а фантазия ваша тут, как тут!..

— Какая уж у меня фантазия может?..

— Всякая... неизвестная никому, — уклончиво продолжал Ардальон Порфирьевич. — Только вот заметьте, что будет она обязательно возможной, и обязательно также вам захочется, как вещь, ее потрогать.

— На Удельную, батюшка, отвезут, к Николаю Чудотворцу... если так будет!..

— Нет, то другое, — возразил, усмехнувшись, Адамейко. — На Удельную кого отвозят? — Сумасшедших, так? А какая мысль у сумасшедших, а? Вот вопрос тоже! У сумасшедших фантазия дальняя, вот что!.. Например, бухгалтер у нас служил, еврей, — отвезли прошлый год на Удельную. Так он на чем помешался, думаете? — Произвел себя в расстрелянного царя Николая! Нет, не про такую фантазию человека я говорю. Я про такую, что невидимо, может, рядом с жизнью обретает, вот что... Характер ее, так сказать, и

характер жизни родственны!.. Припоминаете преступление мясника, зарубившего сожительницу свою и студень из ее остатков изготовившего?.. На суде так и сказал: «Фантазия,— говорит, — мне пришла, сам понять не могу, почему; убью, думаю, изменницу и студень сделаю...». И, представьте, врачи отзыв дали: «вполне вменяем». И понимаю: я сам могу думать такое, что, может, другой кто посчитает за сумасшествие... или за преступление. А позовите всю академию докторов и скажут: «здоров». И правильно, заметьте, скажут, потому что в организме никаких изменений не наблюдается. Вот и вопросик, а?!

Ардальон Порфирьевич вопросительно и пристально посмотрел на свою соседку, теперь уже все время внимательно слушавшую его.

— Вот еще пример, если хотите, — сказал он. — Есть у меня... ну, один дом знакомый, предположим. Так. Квартира, значит... и собака тоже, шпиц вот такой... Хожу я туда, разговариваю, чай пью, собаку ласкаю, канареек слушаю... допустим. Ну, так... А у самого вот... фантазия, так вот и подумываю...

Адамейко запнулся.

— О чем? — спросила женщина.

— Ни о чем! — встал вдруг со скамьи Ардальон Порфирьевич. — Неинтересно вам это. Когда-нибудь расскажу... в другой раз... Рекс, Рекс! Поди сюда...

И он коротким ступенчатым свистом позвал к себе собаку.

— Помещиков из деревень выселяют, — неожиданно переменял он тему разговора, показывая на газету. — Порядочно, оказывается, набралось их.

— Эх, не надоело еще людей преследовать! Покойный муж мой...

— Да что покойный муж ваш да вы!.. — так же неожиданно зло оборвал Адамейко свою собеседницу.

Он словно ожидал случая, чтоб начать разговор, о котором в этот же вечер соседка в беседе с Елизаветой Григорьевной отзывалась с обидой и возмущением, как о грубом и непонятном в устах Ардальона Порфирьевича.

— Мелкой их, дворян этих паршивых, гнать отовсюду надо... вот что! Корни их уничтожить, политическую кастрацию, извините, сделать им надо... Каждого из них простым дворником в рабочий дом поставить...

Он долго и зло высмеивал заступничество своей собеседницы и проявил себя в этом разговоре так, что, действительно можно было бы предположить со стороны, что Ардальон Порфирьевич имеет близкое касательство к тем людям, кто активно руководил революцией в стране.

#### ГЛАВА IV

Неизвестно, чем закончилась бы эта беседа, если бы внимание и Адамейко и его соседки неожиданно не привлекли двое людей, приближавшихся в сторону наших собеседников, — молодая женщина и рядом с ней — маленькая девочка. Вернее, обратил на них внимание сначала один только Адамейко, и только спустя минуту — его собеседница, — и то только потому, что заинтересовалась теперь поступком Ардальона Порфирьевича: завидя приближающихся, он быстро встал и сделал несколько шагов им навстречу.

Молодая женщина шла медленно, чуть вразвалку, поглядывая по сторонам и присматривая свободную скамейку, в руке она держала черный шнур, другой конец которого был привязан к ошейнику шедшей впереди собаки — белого шпица.

Когда она почти поровнялась с Ардальоном Порфирьевичем, он шагнул в ее сторону и, слегка улыбаясь, протянул руку к шедшей рядом с ней девочке:

— А, Галочка... Узнаешь меня?.. Помнишь, с папой мы вместе?

Она утвердительно кивнула головой и нерешительно подала ему тонкую, как веточка, ручонку.

— Вот и хорошо... очень даже хорошо, — продолжал Адамейко улыбаться. — Вот и встретились... вот и знакомы уже...

— Кто вы?.. простите, — остановилась молодая женщина. И она с недоумением посмотрела на Ардальона Порфирьевича.

— Не смею скрывать этого, конечно...— слегка поклонился он женщине.— Я—Адамейко, Ардальон Порфирьевич Адамейко... Знать меня—не приходилось вам, конечно...

— А-а...— коротко улыбнулась молодая женщина.

— Неужели знаете?—удивился Ардальон Порфирьевич.

— Мне муж говорил про встречу с вами,—и она с любопытством окинула его взглядом.— Галка, присядем тут, пока будет готово в аптеке...

Она подошла к скамейке, где оставалась сидеть знакомая Ардальона Порфирьевича, и села на другом конце. Девочка поместилась рядом.

Минуту Адамейко с некоторым удивлением наблюдал за обеими. И, впрочем, было чему в первое время удивляться; об этом чувстве своем впоследствии уже рассказывал он Ольге Самсоновне, жене Сухова.

— Так вы.. мать Галочки, вот как!— начал он вновь на минуту прерванный разговор.

— Как видите!—серьезно сказала Ольга Самсоновна.— И Галочки и Павлика... Попрыгай, Милка, побегай... Ну-ну, сейчас.. подожди.

Она отвязала черный шнур от ошейника, и белый вертячий шнур резко отбежал прочь.

— Навлик ваш заболел что-то,—продолжала, чуть нахмурившись, Ольга Самсоновна.— Ждем вот с Галкой, пока лекарство в аптеке приготовят.. У вас нет спичек?—спросила она, вынув из жакета узенькую коробочку с напиросами.

— Н-нет. Но я сейчас принесу, через секунду.

И Ардальон Порфирьевич быстро направился к ларьку, что стоял за изгородью скверика. Впереди него побежала, словно за хозяином, белая пушистая собачка. Каждую секунду она поворачивала в его сторону свою остренькую морду и заглядывала ему в лицо.

«Ах, ты, Милка... Милка, собаченция»..—ласково бросал ей на ходу Адамейко, но она не виляла хвостом, не бросалась к нему навстречу, как всегда делают собаки, услышав свое имя. «Фу, ты, штука!. ошибся»...—усмехнулся про себя Ардальон Порфирьевич, внимательней присмотревшись к ошейнику собаки.

«Как же это так, а? Галка эта и... она?..» — думал он уже о другом, дожидаясь сдачи у ларька.

Через минуту он уже возвратился обратно, неся в руках спички и новую коробку папирос.

— Вот... — сказал Ардальон Порфирьевич, протягивая покупку Ольге Самсоновне. — Прошу вас, не обидьте...

— Не обижу! — рассмеялась та. — Это хороший сорт, не то, что мои...]

Она бросила свою папиросу на землю и, прорезав острым ногтём мизинца бандероль на коробке, вынула из нее новую папиросу и закурила.

— Вот и пришлишь ваши по вкусу, Ардальон Порфирьевич, хоть вас-то и не знают!.. — прищурила насмешливо глаза его соседка по дому, с интересом все время наблюдавшая новую знакомую Адамейко. — А я и не знала, что вы такой ловкий кавалер...

Ни жена Сухова, ни Ардальон Порфирьевич ничего не ответили. Адамейко искоса только неприязненно посмотрел на нее.

— Да.. Так, говорите, сынок ваш, Павлик, болен даже?.. — обратился он к Ольге Самсоновне.

— Беспokoюсь очень.. Неприятность такая.. Вот и Галю боюсь на лишний час в квартире оставлять: как бы не заразилась.. С собой ее взяла, в аптеку. Хотя разве так упасешь?.. Доктор коммунальный приходил, лекарство прописал. Говорит, подозрение есть на скарлатину.. рвота у Павлика.

Как ни сумрачно было в этот момент лицо Ольги Самсоновны, но она не смогла сдержать улыбки, когда сидевшая все время спокойно соседка Ардальона Порфирьевича вдруг поднялась и, не говоря ни слова, отряхивая почему-то свою черную юбку, направилась к другой скамейке.

— Испугалась заразы старуха, что ли?.. — уже с презрением к ушедшей сказала Ольга Самсоновна. — Кто она, Ардальон Порфирьевич?..

— Лишний человек, по-моему.. Как есть, никому не нужный!.. И, заметьте, билетница... — глухо и горячо вдруг ото-звался Адамейко. — Барыня, собачки своей не стоящая!..

— ..Ну, вот и ждем лекарства... — продолжала уже женщина первоначальный разговор. — А муж мой дома, с Павли-

ком. И денег нет... Вот вам и голая жизнь, как говорится! — посмотрела она внимательно на своего собеседника.

И — недокуренной — бросила папиросу далеко от себя в кусты.

Ардальон Порфирьевич тоже внимательно рассматривал теперь лицо молодой женщины.

Оно было бы очень красивым, если бы не вдавленный узкогубый рот, придававший тем всему лицу почти злое и надменное выражение. Но Ольга Самсоновна все же была красива: темнорыжие стриженные волосы, голубые большие глаза, матовый загар чистой молодой кожи, стройная, чуть-чуть полная фигура — привлекали к себе внимание встречаемых прохожих. Вероятно, не один из них обращал — и в этот день — внимание на то, что красоте этой женщины никак не соответствовала ее скромная, почти бедная одежда, как и не соответствовала она, на первый взгляд, тому, что женщина эта — в заштопанных в нескольких местах чулках — водила с собой капризного белого, как пуховка, грациозного шпица.

Внимательный глаз даже в ее красивой внешности нашел бы отпечаток того, что характеризует людей среднего социального слоя, едва только задетого городской культурой и именующегося у нас мещанством. Еще больше можно было бы убедиться в этом при разговоре с Ольгой Самсоновной, которая если и вспоминала с сожалением свою прошлую жизнь, то больше всего говорила при этом о лакомых банках с вареньем и помидлой в доме своего умершего отца, старшего приказчика бакалейной лавки где-то в Гдове или Череповце, чем о социальном неравенстве своего брака с типографским рабочим, Федором Суховым. Брак же этот, надо заметить, считала все же для себя несчастным.

Но, при всем этом, во внешности Ольги Самсоновны было нечто, что даже внимательный наблюдатель на первых порах мог бы приписать, не думая ошибиться, не только природной красоте этой женщины, но и чуткости и значительности ее души; это были — глаза Ольги Самсоновны.

Они больше всего приковывали к себе внимание, — их прежде всего и заметил Ардальон Порфирьевич, когда встретился с женой Сухова.

Глаза у нее были большие, невинные, с широко открытым, — словно вбирающим в себя увиденное, — светящимся зрачком; голубые, как подставленный под лучи солнца лед, — они тоже были привораживающе лучисты: казалось, что глаза вот-вот уйдут из-под легко сидящих на них век, станут теплоосязаемыми, и только сдерживает их каждый раз взмах густых и загнутых темных ресниц.

В глаза эти нельзя было долго смотреть: ясные и пронизанные голубым чистым светом, они делали вдруг мутным и сбивающимся устремленный на них взгляд другого.

— Вы обещали мужу прийти? — спросила Ольга Самсоновна.

— Да... да! — поспешил ответить Адамейко. — Как же, как же... Уж теперь обязательно. Вижу, что он вам все уже рассказал. Тем лучше, тем приятней. Знаете, человек человеку может на помощь прийти совершенно, заметьте, неожиданно... и просто даже, без долгих знакомств. И каждому интересно... очень бывает интересно иной раз. Не так ли? Мы с вашим мужем люди простые, и нам, знаете, никаких, как говорится, цирлих-манирлих не нужно... Важно понять друг друга, — вот вам и дружба тут, как тут!

Он бросал слова оживленно и быстро, как шустрый крупье — скользкие карты: на него смотрели неразгаданно большие светящиеся глаза, настажь открывшие свою голубую красоту, — и Ардальон Порфирьевич чувствовал себя смущенным их невинной, но, — как показалось, — притягивающе-доступной наготой.

Это чувство было тем сильнее, что глаза эти, казалось, живут своей особой, самостоятельной жизнью, более яркой и свободной, чем все черты ее красивого лица, покорные этим двум голубым огням, как слуги своему господину.

Но нужных слов для разговора нехватило, и Адамейко, осекшись, умолк, да, к тому же, Ольга Самсоновна уже поднялась со скамьи, взяв за руку Галочку, чтоб направиться к аптеке.

— Остаетесь? — и она кивнула на прощанье головой.

— Остаюсь... да. Скверик, знаете, хороший, солнышко... А я загляну к вам... сегодня же забегу, — поспешно ответил Ардальон Порфирьевич, сняв свой картуз.

Он был даже доволен, что сможет остаться сейчас один и продумать эту встречу; присутствие же этой женщины, хотя и давало возможность ее наблюдать, сбивало все же, — он чувствовал, — все наблюдения, как крепкий хмель — шаги человека.

И когда вдалеке уже от себя он увидел белого, сдерживаемого черным шнуром, резвого шпица, а потом он скрылся за угол, — Ардальон Порфирьевич, все это время стоявший, медленно опустился на скамью.

Он долго сидел, согнувшись и свесив голову вниз, и глаза видели теперь только мелькавшие мимо, по аллее, чьи-то ноги и башмаки.

Голосов прохожих Ардальон Порфирьевич не слышал: близко надвинувшаяся, почти осязаемая, — от прилива крови, — мысль, неожиданно пришедшая, словно затопила все сознание и сделала его безучастным ко всему окружающему...

## ГЛАВА V

Человек с парусиновым портфелем подмышкой встал, собираясь уходить: рука его уже застегивала последнюю пуговицу такого же парусинового, летнего, пальто. В это время дверь из соседней комнаты тихонько приоткрылась, и на пороге появился белый шпиц.

Собака, оглядев в секунду всех присутствующих, подбежала к углу и вскочила на низенький сундучок, рядом с сидевшей на нем девочкой.

— Чей это? — равнодушно спросил человек, беря со стола свой картуз.

Он искоса поглядел на собаку.

— Наша. Милочка наша!.. — и девочка прижала к себе острую мордочку шпица.

— Тебя не спрашивают, — ты и не суйся!.. — раздраженно вдруг прервал ее отцовский рокошущий басок.

— Зачем волноваться?.. — сказал человек в парусиновом пальто и шагнул по направлению к сундучку — в противоположную сторону от дверей, словно изменив свое решение. — Волнение тут не при чем, товарищ Сухов, — продол-

жал он, разглядывая теперь с любопытством белого шпица. — На жизнь надо смотреть, так сказать, объективно, — я вам уже это говорил. А теперь вот еще скажу: уж во всяком случае, прежде чем детей своих заставлять нищенством заниматься... и всякое такое, вы понимаете?.. — нужно было эту собачку, как предмет роскоши, какой-нибудь напманше сплавить! Но, в общем, собачка — это ваше дело: я про нее между прочим только. А нищенство, да через эксплуатацию, — сами чего не отрицаете, — детей своих, — это уж вы оставьте. Иначе, как я говорил...

И он развел руками.

— Выгоните?

— Сами знаете, товарищ Сухов, что может случиться. И неприятное для вас, конечно... Ну, прощайте, — мне еще в два места.

Сухов машинально пожал торопливо протянутую ему руку и проводил человека с парусиновым портфелем до площадки.

— Собачка красивая... Хорошая собачка, — почему-то говорил тот, спускаясь уже по лестнице.

Сухов вернулся в квартиру. Его ждала Ольга Самсоновна, слушавшая весь этот разговор из другой комнаты.

— Прав... конечно, прав! — угрюмо сказал он, не глядя на жену. — По-своему союз прав: какое ж тебе, значит, пособие, когда ты детскими просьбами на улице торгуешь, попрошайкой стал, честь пролетария наскудишь!? Сам ведь сознаю, Оля: преступление и позор. А какой выход мне из этого дела, — никто не скажет: настоящему человеку для этого честность его помешает... Терпи, — скажет, — Сухов, держи себя в руках, — скажет, — потому жизнь теперь требует от рабочего человека дисциплины. Вот и все.. Какой же тут выход, а?

— Нету выхода, Федор! — тихо проговорила Ольга Самсоновна.

Она присела на сундучок рядом с дочерью и взяла к себе на колени ласково лизнувшую ее собачку. Сухов оставался стоять посреди комнаты, несколько секунд наблюдая за женой.

В маленькой комнате, кроме стола, табурета и сундучка у окна, почти ничего не было, и человек, стоявший посредине казался оттого выше своего роста, а голос его —

громче, гуще и тяжелей. Поэтому слова звучали дольше обыкновенного, и ухо, казалось, слышало их и после того, как они произносились. Слова как будто висели некоторое время в этой, почти пустой, комнате и делались по-особенному осязаемыми и для человеческой мысли: рожденные мыслью, они порождали теперь ее самое.

— Нету, говоришь, выхода...— слушал уже Сухов свой собственный голос. — А если нету в самом деле, — то простят... Обязательно поймут и простят! — неожиданно горячо сказал он. — Иначе быть не должно! Понимаешь, Ольга?

И он быстро подошел к ней и, пригнувшись, положил руку на ее плечо. Ольга Самсоновна подняла голову.

— Ничего я не понимаю, Федор. Что и кто поймут... и кого прощать надо?..

— Сейчас... Может, сейчас все скажу, Ольга. Галка! — обратился Сухов к девочке, с любопытством вслушивавшейся в разговор. — Поди в ту комнату, слыши?

— Туда нельзя, Федор! А если у Павлика скарлатина, — так чтоб и она заразилась?!

И Ольга Самсоновна поспешно поднялась с сундука, вспомнив вдруг, что и сама может передать болезнь дочери, сидя близко подле нее.

— Ну, так вот что, дочурка... Выведи на минут десять погулять Милку. А? Тут мы с мамкой про одно дело потолкуем... Может, и башмаки тебе будут новые... и платье, а? Я скоро позову в дом... да ты и сама приходи, дочка... — говорил торопливо Сухов, выпуская Галку с собачкой на лестницу.

— Садись, Ольга... — и он опустил след за ней на сундучок.

— Ну?... — подняла на него глаза Ольга Самсоновна. — Ты о чем это хочешь говорить?

— Слышь, Ольга... — тихо, но возбужденно начал Сухов. — Больше недели не говорил я с тобой про это самое дело. То есть про самого себя и про нашу жизнь — про семейство наше общее... а? Так вот, значит... Скоро почти две недели, как преступлением я... преступлением — определенно! — занимаюсь. И боязни у меня нет и страха! Стой... стой: ты не пугайсь... Не пугайсь, Ольга, говорю тебе: не украл я еще

и не убивал никого. Не убил... то есть! А преступление мое такое, что судья ему — я сам! Я да ты — жена моя!.. Уходишь ты на другую улицу вечером, чтоб детей своих и меня в позоре не видеть!.. Понимаю. Все, Ольга, понимаю. А я и есть преступник самый важный в этом деле! В грязь пал я, в самую что ни на есть подлую грязь пал. И сказать бы, рвань я был человек, или вообще сволочь!? В натуре моей того нет, — а выходит — в жизни подлец! И ты, жена моя, так сама можешь сказать... и про себя! И все скажут: «подлые они оба, — и мать и отец, — если детей своих на улицу выводят, жалостью людской к ребятишкам питаются!». Так, что ли?..

— Я против того, Федор, — сам ты знаешь! Но виновата я в несчастии?..

Ольга Самсоновна вздрогнула и крепко сжала рукою свою голову.

— Не ты, не ты, Ольга, — тяжело дышал Сухов. — Я только и есть подлец теперь. Один я! Стою это Каином в сторонке и медью пользуюсь за унижение собственных детишек! В грязь их втаптываю, душу их калечу.. Беззащитностью их пользуюсь. Хорошо, а?

Сухов не то засмеялся, не то застонал: каждый всплеск рокошущего баска переходил вдруг в хриплый протяжный звук — так, что слышно было тяжелое, унылое дыхание груди.

— Каин и есть — Каин! — как-то просто и неожиданно спокойно продолжал он, ухватив волосок бородки щипчиками своих неакуратно длинных ногтей. — Но только все это — людская совесть, конечно, должна простить: голодуха, понятно, за веревку тянет... Вторая мать она для всякой души человеческой. Так, а?.. Хоть какому Авелю она душу шиворот-навыворот переставит... и нож в руки сунет!

— Ты что же это хочешь сказать, Федор?

Ольга Самсоновна с тревогой посмотрела на мужа. Глаза их встретились, — и большие, пронизанные глубоким светом, широко открыли свои голубые донья заглянувшим в них темнокарым, быстро затуманившимся. В эту острую, напряженную секунду оба жадно ловили шорох мысли друг друга.

Сухов не отвечал.

— Говори!—вздрогнули узкие, чуть побелевшие губы Ольги Самсоновны.— Что ты задумал?.. Что ты хочешь?!. Ну, скорей же, не мучай!

— Ты не пугайсь, не пугайсь, Ольга! Было уже... и прошло. Больше не будет... Павликом, если хочешь, могу поклясться— вот те слово! Я потому и расскажу, что еще раз быть того не может.

Сухов старался говорить спокойно; он делал видимые усилия к тому, чтобы каждую фразу произносить медленней, плавней и сдержанней. Сидя на низеньком сундучке, — так, что согнутые колени были почти в уровень с подбородком, — Сухов медленно покачивал и наклонял свое туловище вперед; руки, опущенные между ног, приложенные друг к другу грубыми подушечками ладоней, как будто в такт тихо похлопывали сдвинутыми вместе четырьмя пальцами — каждая о пальцы другой.

Но сдержанного и нарочито, — как чувствовалось, — спокойного тона хватило ненадолго: взволнованность, ни на минуту не оставлявшая его после ухода обследователя из профессионального союза и во все время разговора с женой, была теперь сильней его усилий овладеть собой, — и через минуту, как утлая, разорванная потоком плотина, они беспомощно опали.

— Не пугайсь... никто не узнает теперь — не доищутся!— вдруг перестал он покачиваться и схватил жену за руку.

— Так ты... в самом деле!? — вскрикнула Ольга Самсоновна.

— В самом... в самом, но-настоящему... Только неопасно теперь — ничего не случилось... Я его за горло.. понимаешь!?. — а он сразу и упал... — почти на шопот перешел уже Сухов, и голос его тупо, придавленно шипел, точно заторможенная на ходу резиновая шина. — Не бойсь, я говорю, Ольга! Понимаешь... Я тебе все.. по порядку, как было... Ишь, у тебя глаза какие: два в каждом! Ты не беспокойсь... Ты слушай только.. Было, понимаешь, так это... У нас тут, на Обводном самом... Иду это часов в десять, — вечером, значит... Не евши целый день, как знаешь. Иду и думаю. И не про всякомделешнее соображаю, не про настоящее,

значит, свое, а так просто... всякие фантазии на ум лезут. Ой, какие фантазии, Ольга! Глупые такие, ровно кинематограф... То, чего нет, в голову лезло: будто вот двадцать пять тысяч откуда-то в карман приперло — и все тут! Шел я так тихо минут двадцать, наверно, в землю все смотрел и соображал. Эх, да не время сейчас про все это рассказывать! Ведь голод, голод, Ольга! Я уже замечать стал: как голод — так мысль твоя легкой отчего-то становится, будто бумажный змей... Летит эта мысль и ни за что настоящее не зацепится, — так и со мной было. Так бы, может, и пролетел бы мой змей бумажный до самого дома, — но только поднял я это голову и уже зрячими глазами посмотрел вокруг. И всякая вдруг мечта моя пропала! Вот что... Вижу опять все, что на самом деле существует: вода черная в канале, трамвай на том берегу бежит, дома большие на своем месте стоят, и я сам тут, меж них — маленький... А народу вокруг почти никого и нету. Ух, какая обида меня тут взяла! Понимаешь? — за собственный это обман обида! Вот тут-то зло мое, — не я, Ольга, — а зло мое тогдашнее и заметило его... то его. Шел он вперед меня шагов на двадцать...

— Кто он? — не утерпела Ольга Самсоновна.

— А этот самый... понимаешь? Лабазник. Ну, может, и не лабазник, только так сообразил я тогда. Идет он шагов на двадцать вперед меня — низкий, плечистый и круглый такой, и руки в карманы заложивши. Походка у него утиная и тихая: за полминуты мне б можно было его обогнать! Но иду я позади, а обогнать его чего-то не хочется. Шаг медленней делаю и все на спину его, лабазника, смотрю. На спину и на походку, — глаз, чувствую, не оторвать мне... И вдруг у меня фантазия! Понимаешь, Ольга, — фантазия такая: и мысли и глаза залепила... Как и появилась она — не пойму. Не то заболел я тогда от голоду сознанием? А смотрю сзади на его походку, и зло меня, чувствую, разбирает: зачем он, как ступнет правой ногой, так обязательно косолапо ею загребают?! А она у него, думаю, должно быть, маленькая и в сапоге мягком, шевровом... Зло и зло отчего-то прет к косолапому! Иду за ним по пятам, будто слежу уже специально. Луна, как тарелка, и мне его всего видно. Понимаешь, Оль-

гушка, слежу: сам сознаю уже, что слежу! А фантазия-то моя все ближе да ближе к нему, к этому лабазнику, как прозвал в мыслях его... Помню вот, — так и тянет меня все камень с панели поднять и в косолапую ногу его кинуть! Ух, зло такое у меня тогда было, — сам удивляюсь!.. Ну, что за фантазия такая в голову влипнет, а? Вдруг лабазник этот на углу с Обводного нашего сворачивает — да в переулок, где каретная мастерская. . знаешь? Ну, вот в самый-то этот переулочек... и не знаю уж как — но только и я неожиданно с канала туда же. Тут потемней стало, потому что от луны мы вбок ушли. И тут уже сразу, вдруг, заскочило мне в мысли — не фантазия, а самое настоящее.. Потом только понял я — слышь, Ольгушка?.. Только потом. Я за лабазником следил, а настоящее, значит, мое — за мной! Сам его не чувствовал, а вдруг оно тебя, ровно ножом, ткнуло: «Ударь его, лабазника, замертво и возьми!». А что возьми — уже понятно мне было... «Возьми, — уйдет, обязательно сейчас под ворота какие-нибудь уйдет» — все толкает, толкает, понимаешь, меня изнутри, и сам я уже, Ольгушка, как сумасшедший. И шаг у меня быстрее стал, вот-вот нагоню: чувствую, как ноги легкими стали, будто впереди меня самого бегут... Оглянулся я по сторонам — в переулке никого, кроме нас двоих, как будто и нету. А как оглянулся, так я и понял, что уже не сдержать мне себя, своего зла уже не выплунуть. Раз оглянулся — тут уж, значит, Ольга, полное сознание мое шло на преступление.. Значит — твердо обдумывал. Значит — не отпираться мне уже... А ноги несут и несут! Вон два раза руку протянуть — и лабазник тут! Вдруг он остановился... остановился, понимаешь, и нагнулся чего-то... А место это было возле заколоченного темного дома. Нагнулся он как-то сторонкой, словно нарочно сделал... а? Вот, пожалуйста, значит, обгоняй меня, который сзади идешь... понимаешь? Ну, вот и было... В одну секунду случилось. Прыгнул я на него, хватить его за горло, — забарахтался он только, промычал что-то, упал на землю, и я за ним... И вдруг странное тут случилось... а? Я от него, от лабазника, хоть какого-нибудь крика жду, — а он только крепко мою руку схватил, от горла своего отдергивает ее, а горло-то ни одной

буквы сказать не может... не то, что сказать, а даже выкрипнуть. «Мэ-мэ» до «мэ»... понимаешь? «Давай деньги! — чуть не на ухо говорю ему, — деньги, и я тебя оставляю...». И даже чуть ослабил я свою руку, а другой в карман ему лезу... И вдруг он как рванется, руку мою почти-что вывернул, ногами меня по животу, — и упал я в канавку, и он рядом — свободный... Закричи он — и что б было, а?! А он только мычит: «мэ-мэ!...». Вскочил я, а он за ногу меня держит и все мычит: «мэ-мэ»... Тут только вдруг я понял: человек-то этот был немой!

— Ой... как же! — вскрикнула Ольга Самсоновна и судорожно схватила мужа за руку.

— Немой!.. немой, девчушка! Освободился я от него, — да и в сторону! И зла уже как будто и не бывало, и фантазии своей преступной, — одна жалость вдруг. Побежал я от него — вот что!.. Своим несчастьем победил он меня, понимаешь? И меня из преступления вызволил. Так, а?.. Ведь бывает же такая сила в несчастьи! Что, Ольгушка?..

Свой длинный рассказ, начатый почти шопотом, Сухов передавал под конец почти естественным своим голосом, только чуть быстрее обыкновенного.

— Нет, этому уж больше не бывать! — уже совсем громко сказал он и вздохнул широко и бодро.

Он ласково погладил рукой плечо жены. Ольга Самсоновна молчала.

Как и в начале разговора, они оба сидели на маленьком сундучке, почти прикасаясь друг к другу.

Солнце стояло уже низко, и последние его, быстро ускользящие лучи, ползали по краешку потолка, по стенам комнаты вялыми укорачивающимися пятнами румянца.

Там, где они еще оставались, — серенькие полосатые обои казались подкрашенными и причудливо светящимися — как будто изнутри. В этой, почти пустой, комнате ползающие румяньенкие пятнышки невольно теперь останавливали на себе человеческий взгляд, утомленный однообразием скучных серых обоев.

Рассказ Сухова очень взволновал Ольгу Самсоновну. Воспаленная уже, напуганная мысль беспорядочно рисовала ей

близость неминуемой опасности, когда придут вот ночью,— может быть и сейчас даже,— придут и арестуют мужа,— и захлопнется за ним дверь, и сиротливей и еще более безрадостней станет жизнь и ее, Ольги Самсоновны, и обоих детей. И когда глаза ее невольно вдруг,— несколько раз в течение рассказа мужа,— останавливались на солнечных — светящихся и мигающих — пятнышках, становилось беспричинно спокойней, на короткие мгновения пятнышки эти отвлекали ее внимание от таинственной и горячей исповеди мужа...

А когда Сухов закончил ее, Ольга Самсоновна не смогла сразу отозваться на его вопрос: светящиеся пятнышки на стене назойливо овладели теперь ее вниманием.

— Что молчишь, Ольгушка? — посмотрел на нее Сухов.

— Не понимаю... То есгь я... все понимаю, я боюсь, Федор!.. — опять заволновалась она и повернула голову в сторону мужа. — Что же это будет, что будет теперь?.. Ведь не поймут, никто же не поймет, Федор, что не преступник ты... что случайно ты, от голода ведь... от несчастья?.. Ну, что же мне делать с тобой... с собой, а? Ну, как ты?..

— Со мной — ничего не делать! — тихо и спокойно уже улыбнулся Сухов карим своим теплым глазом. — Говорю тебе — никто никогда проишествия этого не узнает. Понимаешь? К тому же, человек ведь тот немой — ну, как же ему подробно про все рассказать, описать как это ему, а? Да и крови-то человеческой ни наперстка не пролилось, так? Я ведь не о себе теперь беспокоюсь, не о себе, — вот что... Никто меня никуда не возьмет, будь покойна, Ольга. Не о себе я, понимаешь...

— Так о ком же?

— О ком? — переспросил медленно Сухов. — О ком?

Он обнял жену и прижал к своему плечу, заглядывая пристально и осторожно в ее настежь открытые большие глаза.

— О тебе. Об одной теперь — вот что, Ольга! Я ведь не говорю, но я все знаю... вижу все, чувство мне мое говорит, понимаешь!.. Бывает так, слежу за тобой... Жду каждый день теперь, думаю: «переступит она или не переступит?». Вот по одному, так сказать, предмету... живому предмету, Ольга, и проверяю каждый раз... Я ведь собаку твою!

Милку твою любимую, не отдам, — понимаешь, не отдам педь! — испытующе посмотрел он на жену. — Прошлый год, как купила себе, — прихотью считал, бабьим капризом. Подражать, подумал, барынькам новым жена моя захотела: жена у меня не как у каждого рабочего человека.. Ну, пускай! А теперь и сам не уступлю, никому, понимаешь? Вот по ней, по собаке-то, и проверяю, слежу... Думаю: собаку согласится продать, — значит, рвать все будет, бросать все будет, — и чтоб ничего не напоминало! Так? Иначе и быть не могло... Красивая ты, кожа у тебя не рабочая.. молодая...

Темные ресницы, опущенные вниз, скрыли от Сухова голубые, устремленные на него с тревогой, глаза.

— Не мучай, Федор, нельзя так... Я ведь за тебя теперь боюсь, а ты вот о чем!..

— Я не мучаю, Ольга..

— Мама!.. — застонал вдруг в соседней комнате ребенок. — Ма-ама!..

— Проснулся! Иду, иду, Павлик!.. Пусти!..

Ольга Самсоновна вскочила с сундучка и быстро вышла из комнаты. Встал и Сухов.

В квартиру позвонили. Сухов пошел открывать.

На пороге стоял Адамейко, а сзади него Галочка и ласково повизгивавший пушистый шпид..

— Можно? — спросил Ардальон Порфирьевич, протягивая руку.

## ГЛАВА VI

Домой Ардальон Порфирьевич возвратился почти тогда же, когда и жена, Елизавета Григорьевна.

Днем, когда торговля в ларьке значительно уменьшалась, Елизавета Григорьевна оставляла его на два часа под приглядом своей компаньонки и приходила домой, чтоб наспех состряпать на примусе обед себе и мужу.

Шипел неподалеку, на кухне, примус; слышно было, как брызжит на огне, рассыная брызги масла, наполненная котлетами сковорода; несколько раз, — торопливо, наталкиваясь плечом на дверь или спотыкаясь о какой-нибудь предмет

в передней, поправляя на ходу унавшие на лицо волосы, — вбежала в комнату, к столу или буфету, Елизавета Григорьевна, — и тогда от рук ее шел теплый густой запах кухонной посуды и жареного мяса, которое вот, с нескрываемым удовольствием, через каких-нибудь четверть часа Ардальон Порфирьевич, смазав горчицей или помочив в салате, медленно и по привычке хорошо пережевывая, съест, прочитывая одновременно «вечорку», которую имел обыкновение просматривать всегда во время обеда.

Пока жена возилась со стиральной, Ардальон Порфирьевич, полулежа на диванчике, играл с рыжим молодым котом, которого взяли к себе супруги Адамейко в предохранение квартиры от мышей, переселившихся сюда, по словам Елизаветы Григорьевны, от соседки по площадке — Варвары Семеновны Пострунковой, вдовы бывшего подпольного адвоката, Николая Матвеевича.

Чудаковатый и странный был человек — этот Николай Матвеевич! И последнюю странность, последнее свое чудачество выказал он перед самой смертью, случившейся всего лишь полтора года тому назад.

В свое время Ардальон Порфирьевич подробно рассказал всю эту историю Сухову, и мы бы не приводили ее, если бы продолжение ее, уже после смерти подпольного адвоката, не имело некоторого значения для уяснения душевного состояния самого Адамейко, обрисовать которого мы обязались возможно полней и подробней.

Последнее чудачество покойного Николая Матвеевича, — его предсмертное завещание, — поразило тогда многих его знакомых, не сумевших скрыть в этот печальный час своей улыбки, а некоторые, — как, например, и сам Адамейко, — неуместно выпрыгнувшего наружу смешка...

Николай Матвеевич человек был физически еще крепкий для своих пятидесяти пяти лет, веселый, слыл среди друзей неисправимым эпикурейцем, и астма, так неожиданно задушившая его, увела в могилу человека, меньше всего страдавшего холодной пустоты смерти.

Поэтому, может быть, в то время, когда перепуганная, растерявшаяся Варвара Семеновна, стоя у его изголовья,

сиротливо и уныло завывала, выпрашивая мужнее разрешение пригласить для напутствия знакомого священника,— может быть, для того именно, чтоб прервать на минуту нудный и тоскливый плач жены, более неприятный ему, чем сама смерть, Николай Матвеевич, отдышавшись чуть от последнего приступа удущья, поглядел на всех присутствующих и, чуть иронически улыбаясь, сказал вдруг:

— Попика Александра звать не надо. Посудите сами, вы, остающиеся жить, так сказать... Какое ж может он мне напутствие учинить, когда и посейчас, не без некоторого процента вероятности, подозревает меня, раба грешного, в вольном прегрешении с попадьей-матушкой, Анной Ивановной?! И не где-нибудь, а в светелке их супружеской... А ты, Варвара, не горюй. Через день меня хоронить будешь, но знай... Весь я не умру, а превращусь на время твоей жизни в... мышку! И будет та мышка всюду тут бегать, и береги ее от котов, потому что это я буду! Это тебе мое завещание, а? Гляди веселей, кум Елисей! Ах, чорт!.. — сказал уже чуть слышно Николай Матвеевич, сильно закашлявшись.

В тот же день он умер.

И в то, что говорил он перед смертью в шутку, уверовала по-настоящему, как увидели потом все, вдова Варвара Семеновна. Первой об этом рассказала молочница в беседе с Елизаветой Григорьевной.

Наливал на кухне молоко в кувшинчики Варвары Семеновны, молочница заметила вдруг на полу, подле шкафика, возившегося юркого мышонка.

— И кошка у вас есть, а мыши бегают,— спокойно сказала она и, схватив с плиты полено, бросила его вдруг в мышонка, но промахнулась.

— Мышонок?— вскрикнула радостно вдова.— Да как ты смеешь!.. Не трогай, поганка, не трогай, я тебе говорю: это ведь Николай Матвеевич!..

Кошку в тот же день Варвара Семеновна кому-то отдала, а через некоторое время мышонок не только не боялся показываться у шкафчика, но свободно разгуливал по кухне, а потом и по всей квартире. Он подолгу возился на одном каком-нибудь месте, куда заботливые теперь руки Варвары

Семеновны клали сахар, коржики, слоеный пирожочек, а сама она тихо, не шелохнувшись, сидела в сторонке и следила за маленьким прожорливым животным, которого кормила всем тем, что любил раньше покойный Николай Матвеевич.

Горе постигло Варвару Семеновну, когда однажды увидела вдруг у оставленного на полу кусочка сахара... одновременно двух мышей, совершенно одинаковых, неразличимых!..

Ох, всячески старалась бедная вдова объяснить сама себе это неожиданное появление второго мышонка, всячески старалась успокоить себя различными соображениями о странных возможностях, таящихся в загробной жизни... Но спустя короткое время, когда мыши уже одновременно скребли и бегали во всех комнатах, — Варвара Семеновна перестала уже искать тому объяснений, но кошки все же в дом не взяла, так как боялась, что глупое животное сможет случайно умертвить именно «Николая Матвеевича»...

Странность эту Варвары Семеновны знали уже все в доме, но лучше всех — супруги Адамейко, ближайшие соседи, иногда заходившие к ней по разным делам.

Между вдовой и Елизаветой Григорьевной вскоре установились чисто деловые отношения, так как часто Варвара Семеновна ссужала деньгами под некоторый небольшой процент маленькое торговое предприятие Елизаветы Григорьевны на Клинском рынке: после покойного Николая Матвеевича осталось сотни две червонцев, кстати сказать, выигранных им незадолго до смерти в известном всей столице Владимирском клубе.

Сделав это незначительное отступление, дающее хотя бы некоторое представление читателю о ближайшей соседке супругов Адамейко, — станем продолжать теперь наше повествование, прерванное мыслью о причинах, повлекших появление в квартире Елизаветы Григорьевны молодого рыжего кота.

Кот этот игриво и стремительно каждый раз вскакивал то на колени к человеку — и в том и в другом случае старался мягко, не дарапая, задеть его крупное, торчащее ухо или юлящий перед глазами палец хозяина, но сегодня Ардальон Норфирьевич вяло и неохотно отвечал на забавы шаловли-

вого кота, привыкшего к более внимательному к себе отношению.

Внимание же и мысли Ардальона Порфирьевича были заняты теперь другим. Он сам ловил себя теперь на этих мыслях, подбирал и складывал их в своем мозгу одну подле другой, как коллекционер — собранные им предметы.

И несколько раз забежавшая в комнату Елизавета Григорьевна никак не могла предполагать, что собирав эти мысли теперь Ардальон Порфирьевич о ней именно.

Вот, сию минуту, забежав за сахаром, она неловко шагнула в передней, зацепила ногой стоявшие под столиком калоши, — и одна из них, неприятно шаркая по полу, влетела вдруг в комнату, шлепнувшись — перевернутая — о косяк буфета.

«Эх, косолапая какая!..» — морщится про себя Ардальон Порфирьевич, провожая взглядом торопливую жену.

И, когда, уходя вновь на кухню, Елизавета Григорьевна забывает захватить с собой неловко брошенную сюда пыльную калошу, — он встает с диванчика, поднимает ее с пола и сам относит в переднюю.

Или вот теперь: Елизавета Григорьевна пересыпает из кулька сахар; белые кристаллики песку с коротким шуршащим шумом падают на подставленную тарелку, мгновенно наполняют ее через край и сыплются дальше — на стол, на плетеное решето сиденье стула и сквозь дырочки его — на пол.

— Ах, не рассчитала! — восклицает Елизавета Григорьевна и выбегает с тарелкой из комнаты, и рассыпанный на полу сахарный песок, как раздавливаемые насекомые, хрустит неприятно под ее башмаками.

«Фи, безобразие... неряха!» — раздуваются уже ноздри Ардальона Порфирьевича, и его маленький птичий нос нервно подергивается.

При каждом появлении жены Ардальон Порфирьевич теперь уже с нарочитой внимательностью следит за каждым ее жестом; и глаз и мысль ищут в них еще чего-нибудь нового, что могло бы дополнить сегодняшние наблюдения за Елизаветой Григорьевной.

И хочется еще и еще чего-нибудь угловатого, нескладного и неприятного в поступках, в движениях жены, вдруг став-

шей далекой, даже враждебно-чужой, — и Адамейко чувствует уже, как упорная злоба вместе с кровью приливает к его мозгу.

А когда через минуту Елизавета Григорьевна возвращается в столовую со шваброй и акуратно выметает пол, и попутно стирает пыль возле самых ног сидящего на диванчике Ардальона Порфирьевича, злоба эта не только не утихает, но неожиданно еще больше усиливается! «Эх, догадалась-таки, неряха!..». И неприятно, зачем «догадалась» уже Елизавета Григорьевна!

Но вот взгляд упал на загнувшийся подол ее юбки, — и Ардальон Порфирьевич с сухой иронической усмешкой вспоминает еще одно прегрешенье жены: как, раздеваясь перед сном, часто оставляет Елизавета Григорьевна на пыльном полу сброшенное с себя неопрятное платье, или в новой юбке может валяться на кровати, или находит — бывает — свою гребенку в хлебнице...

— Садись к столу! — входит с шипящими на сковороде и пускающими горячие масляные пузырьки котлетами Елизавета Григорьевна. — Мне ведь бежать скоро

Ардальон Порфирьевич сбрасывает с колен рыжего кота и молчаливо присаживается к столу, а вгнездившаяся, непокидающая мысль, как упорная ткачиха, ткет: «Непростительно ей... За что прощать ей: хоть бы с душой человек был или красотой брала, а то мясо одно и галантереей торгует!..».

Красоты, и впрямь, у Елизаветы Григорьевны было мало.

Если чем и вызывала к себе внимание супруга Адамейко, так это бедрами только. Они были непомерно крупных размеров, бочкообразные, тяжелые, и юбка лежала на них оттопыренно и вздуто, словно сшита была из нескладного брезента. Из-за бедер же этих юбка делалась короче, и из-под нее виднелись обутые в черные шелковистые чулки стройные, тонкие ноги, никак не соответствовавшие своему непомерно крупному верху: казалось, вот-вот они подогнутся и обломаются в коленях от напирющей на них тяжести. Впечатление это еще усугублялось тем, что роста Елизавета Григорьевна была низкого, как и муж, но плечи имела широкие и круглые.

Лицо же Елизаветы Григорьевны никакими достопримечательностями не обладало, если не считать вздернутого носа и выпуклых желтовато-коричневых глаз, смотревших всегда добро и чуть растерянно.

Нельзя сказать, что Адамейко не любил вовсе своей жены. Наоборот, часто он был очень ласков с ней и сам дорожил вниманием и лаской Елизаветы Григорьевны, которую, по существу, считал верной подругой своей жизни, а в некоторых житейских вопросах — и старшим товарищем своим. Сама Елизавета Григорьевна так и старалась поставить себя во взаимоотношениях с мужем: она была старше Ардальона Порфирьевича на четыре года и считала себя значительно опытней и практичней его. Адамейко, к тому же, находил ее еще и более спокойным человеком.

Он был рад этому спокойствию жены, верней — тем ограниченным требованиям к жизни, которые она, Елизавета Григорьевна, предъявляла, вместе с тем, и к нему самому: она умела быть довольной каждым прожитым своим днем, хлопотами и заботами в ларьке и по дому, маленьким развлечением, полученным в кино или — в очень редких случаях — в театре миниатюр на Невском, или солнечной погодой в воскресный день. В газете она читала только распоряжения местной власти о порядке торговли, о квартирной плате и иногда также доступно написанный отчет о каком-нибудь сенсационном уголовном деле.

Надо сказать, кстати, что, когда, впоследствии, судили уже и самого Ардальона Порфирьевича, и Елизавету Григорьевну, все время присутствовавшая в зале суда, была уже в курсе всех происшедших событий — вплоть до факта нападения в темном переулке на немого человека, — даже и тогда уже она искала точного объяснения всему не столько при помощи своих собственных умозаключений, сколько в бойком отчете газетного репортера, довольно верно схватывавшего некоторые черты характера ее мужа... Может быть, здесь наилучшим образом сказалась неразвитость ее ума, но все же совсем глупой назвать Елизавету Григорьевну нельзя было.

Но по временам вдруг именно такой и считал ее Ардальон Порфирьевич. Тогда уже то, что он привык называть спо-

койствием ее натуры, в его глазах получало неожиданно другой смысл, весьма обидный для Елизаветы Григорьевны.

Адамейко, привыкший, по складу своего ума, думать обо всем очень пытливо и проникновенно и меньше всего проявлявший интерес к людям, ему близким и легко разгадываемым, иногда вдруг вспоминал о жене, как о человеке, — и тогда тихость и нетребовательность ее ума, принимавшего жизнь так же бездумно, не проверяя, как пациент — таблетки из аптеки, — вызывали у Ардальона Порфирьевича чувство скрытого презрения к жене и прилив острого озлобления человека, превосходство которого среди всех окружающих так явно, но для них незаметно или безразлично... А о превосходстве своем Ардальон Порфирьевич часто думал, и мысль об этом уже сделалась частью его характера.

И если сегодня эта же мысль пустила уже, как почка — ростки, и другие — о малой привлекательности и нескладности жестов и поступков неопрятной Елизаветы Григорьевны, то была уже и новая — вкрадчивая и по-своему волнующая.

Каждый раз, подняв голову от тарелки, Адамейко видел сбоку от себя румяное и лоснящееся от недавней кухонной возни хорошо знакомое лицо жены, и непонятно для самого себя Ардальон Порфирьевич чувствовал теперь, что видит он словно не целиком облик Елизаветы Григорьевны, а только каждую часть ее лица в отдельности...

Вот замасленные влажные губы — рот, обнажающий такие же жирные теперь передние зубы с застрявшими между ними кусочками картошки и мяса; вот, отдельно, безучастно ко всему приподнятый кверху кругленький нос; глаза, густые ресницы, не отпускающие застрявшего среди них одного свисающего с головы волоса; одной сплошной светлорусой бечевочкой протянутые брови, родимое пятнышко на щеке, кончик закрытого прической уха, — все это видел отдельно, все это, казалось, и существовало только порознь, а живого лица жены, самой Елизаветы Григорьевны, — как будто теперь уже и не было...

Так вот — отдельно можно смотреть на брови, на родимое пятнышко, на жирный зуб, словно все это находилось порознь у нескольких людей.

«Фу, ты, чорт, — предметы разные в голову лезут!» — одну минуту подумал даже Ардальон Порфирьевич.

Но в то же время новая, вкрадчивая и волнующая, мысль заставляла живо и отчетливо видеть уже то, что реально сейчас перед глазами не существовало: глаза видели все время образ встретившейся сегодня Ольги Самсоновны.

И если весь этот час Ардальон Порфирьевич был особенно придирчив в наблюдениях над Елизаветой Григорьевной, то, как понятно будет читателю впоследствии, этому немало способствовала упорная мысль о встрече с женой Сухова.

О том, какое впечатление произвела на него эта встреча, Ардальон Адамейко расскажет в свое время лично, — мы же вернемся к описанию того, как провел он остаток дня 28 августа; но, до этого, сообщим теперь же, в следующей главе, о некотором факте, имевшем место ровно через 12 дней, то есть 9 сентября.

## ГЛАВА VII

Девятого сентября после обеда, уходя на Клиновский, Елизавета Григорьевна поручила Ардальону Порфирьевичу зайти через час к вдове Пострунковой — отдать взятые займы деньги, о чем еще дня два тому назад условлено было с Варварой Семеновной. И, когда после ухода жены пришел обусловленный час, в течение которого, как знала Елизавета Григорьевна, вдова еще должна была отдыхать, — Ардальон Порфирьевич, закрыв квартиру на французский замок, направился через площадку к дверям соседки.

Звонка в квартире Пострунковой не было, — и он кулаком постучал в дверь. Слышно было, как в глубине квартиры залаяла тотчас же собака Варвары Семеновны, — потом в одну секунду, скачками, лай этот уж пронесся по всей квартире — и громко уже раздался рядом с Ардальоном Порфирьевичем: теперь его отделяла от собаки только дверь.

Поведение собаки было совершенно обычным и таким же, как всегда, когда кто-либо хотел перешагнуть порог квартиры Варвары Семеновны: всегда Рекс стрелглав бросался к дверям и визгливо лаял, а вслед за ним шла уже сбрасывать дверную цепочку его неторопливая хозяйка. На пло-

шадке всегда были слышны в таких случаях, ее шаги и звук шлепающих по полу туфель.

Ардальон Порфирьевич сейчас ясно представлял себе, как вдова, потревоженная стуком в дверь и визгливым лаем собаки, встает теперь со своей широкой деревянной двуспальной кровати, на которой любила всегда отдыхать после обеда, как сбрасывает при этом с ног покрывавший их полосатый коричневый плед и, спустив их с кровати, всовывает в стоящие тут же остроносые шлепанцы; как проходит потом, почти неслышно, по зеленому ковру своей маленькой гостиной, где, срезывая углы, стоят симметрично, друг против друга, два таких же маленьких зеленых диванчика, письменный стол покойного Николая Матвеевича и другой стол — черный лакированный, покрытый бархатной скатертью, на котором стоит розовая просвечивающая ваза и на дне ее — несколько пуговиц, сломанный короткий карандаш, две-три царских монеты и прошлогодние квитанции домоуправа, — и лежат два толстых, в желтой коже, альбома с приклеенной на них серебряной дощечкой, имеющей форму визитной карточки с загнутым впереди верхним левым углом, и где на каждой дощечке вырезано тонко: «Н. М. Пострунков»; как после гостиной хозяйка попадает сразу в прихожую, где увидит на ходу свое лицо в зеркале, стоящем у стены против вешалки, и, подойдя уже к самой двери и задев ногой юлящего тут же Рекса, спросит, как всегда: «Кого надо?»...

Все это Адамейко, пока стоял у закрытой двери, совершенно ясно себе представлял — так же, как и знал, что на вопрос соседки должен будет ответить: «Откройте, Варвара Семеновна: это я — Ардальон Порфирьевич».

Он ждал теперь терпеливо ее шлепающих шагов и знакомого голоса за дверью.

Когда прошла почти минута, а дверь все-таки оставалась закрытой и по другую сторону ее был слышен только порой визгливый, порой неприятно завывающий лай собаки, — Адамейко снова постучал в дверь, но уже продолжительней и сильнее.

Собака прыгала по прихожей и неистово, с охрипом, лаяла... К дверям же никто не подходил.

Тогда Адамейко обоими кулаками затарабанил по двери, сильно подергал ее, схватившись за немного отставший ее край, снова начал колотить в нее так, что уже было слышно во всех трех этажах флигеля.

Привлеченные шумом наверху, выскочили на площадку жильцы второго этажа, да и в самом низу кое-кто тоже подал свой удивленный голос.

— Не отворяет наша адвокатша-то, а? — спросил жилец второго этажа, молодой краснощекий кассир, известный всему дому тем, что платил алименты одновременно троим сотрудникам одного и того же учреждения.

Он поднялся на несколько ступенек вверх и, задрав свою кучерявую русую голову, посмотрел на Ардальона Порфирьевича.

— Не отворяет! — посмотрел вниз Адамейко. — Будто оглохла она...

— Дома, значит, нету, — отозвался чей-то женский голос со второй площадки. — А иначе такой трескотни — как не услышать!

— Не должно быть! — раздался оттуда же голос старухи, прислуги из соседней квартиры. — Как это дома их нет, когда всем тут жильцам доподлинно известно, что в это время Варваре Семеновне встать только что и полагается после отдыха?.. Всем известно. Завсегда она в этот час к чаю готовится и коржики на стол выставляет, а вы, гражданка, говорите — дома нету! Нет, прости, господи, за мысли, как бы тут несчастьем не случиться или происшествию даже! Вот, правду говорю, под пятницу на той неделе видала я сновиденье черное... Лежу это будто я в бане...

— Эх ты, Палагея Ивановна, не говоря плохого слова!.. — непонятно и весело прервал ее кудрявый краснощекий кассир и громко расхохотался.

Адамейко еще раз постучал в дверь. Шум заглушил рассказни словоохотливой старухи-прислуги.

— Не отворяет? — спросил вновь кассир.

— Не слышать что-то...

— Вот я и говорю про черное-то сновиденье, — вмешалась опять старуха, обращаясь к кассиру. — А вы, господин Жич-

кин, как при советской службе состоите, — так вам бог уже будто и ни к чему! А я, прости, господи, опасаясь теперь даже за их — за Варвару Семеновну: или заболели очень, или...

— Ах, чорт! — и Ардальон Порфирьевич, что было силы, затарабанил в дверь.

— И слушать меня не хочет, словно и сам за нее испугался! — продолжала она. — К тому же, слышите все, как собака надрывается...

— Это верно, Петинька, собака лает ужасно, бедная! — воскликнул молодой женский голос. — Пойдем, Петинька, я боюсь...

— ...А коли собака ихняя в квартире, значит, и хозяйка должна там быть. Иначе, как по-вашему? Собаку Варвара Семеновна завсегда с собой забирает, куды б ни шла.

— Это верно, — подтвердил Адамейко. — Но, может, действительно куда-нибудь вдруг ушла, а Рекса и оставила? Исключительный, может, случай. . Негостеприимная, заметьте, дверь! — улыбался он уже, спускаясь вниз. — Дверь — не человек: не поймет и не расскажет, — продолжал Ардальон Порфирьевич шутить, — а то разве была б так глупа: я, заметьте, Варваре Семеновне долг сторублевый своей жены принес, денежки, а дерево глупое принять меня не хочет...

И он невзначай вынул тоненькую пачку червонцев и опять положил ее в карман.

— Да-с! — весело моргнул краснощекий Яичкин. — Пресуществует в существовании женщина без неприятностей и без служебных обязанностей... Индивид! — направился он уже к своим входным дверям.

— Пойду в булочную... — как-то неожиданно и вяло сказал Адамейко. — Когда возвращаться буду, — занесу уж ей деньги...

И он медленно начал спускаться по лестнице.

Обе двери на площадке захлопнулись. В квартире Варвары Семеновны нудно и отрывисто повизгивала собачонка.

Камень ступенек был прохладен и освежающ, — Ардальон Порфирьевич вытер платком мелкие капельки легкого пота, набевавшего на лоб.

Внизу, на подоконнике, поджав под себя лапы, вперив полузакрытые глаза в одну точку, лежал чей-то серый большой кот. Адамейко остановился подле, несколько раз погладил его, почесал его за ухом... и вдруг, отняв руку, больно ударил его по спине. Кот спрыгнул и, взбежав на несколько ступенек вверх, оглянулся и посмотрел боязливо и недоумевающе на человека.

— Вот тебе! — сказал вслух Ардальон Порфирьевич и неожиданно для самого себя... показал коту фигу!..

Выйдя за ворота, он увидел трехлетнего карапуза, сынишку дворника, без присмотра возившегося на панели. Адамейко остановился и, словно вспомнив о чем-то, быстро подошел к нему и, вытащив поспешно из левого кармана брюк липкий и полураздавленный яблочный пирожок, протянул его мальчугану; запачканные сладким густым соком пальцы Ардальон Порфирьевич тут же облизал языком.

— Бери, бери — кушай... — совал он пирожок к пухлогу-бому мяконькому рту карапуза. — Не бойсь...

Мальчуган молчаливо взял пирожок и, как за минуту до того серый кот, непонятливо посмотрел на незнакомого ему взрослого. Но тот уже отдалялся от него.

Пройдя несколько шагов, Адамейко вдруг остановился и поспешно повернул обратно.

Мальчуган, стоя у канавки, с удовольствием уже жевал пирожок.

— Отдай... ты! — тихо и коротко сказал Ардальон Порфирьевич и быстро выхватил остаток пирожка из маленьких рук. Затем он также быстро вытер их тут же, на панели, поднятым клочком газетной бумаги и продолжал свой путь, не оглядываясь.

— Кхе-кхы... — теперь только заплакал ребенок, но взрослый человек был уже далеко.

Почти ровно через час Ардальон Порфирьевич подходил опять к воротам своего дома, неся в бумажном мешочке вкусно пахнущие кондитерские рогальки. Он вошел во двор.

— А что, господин Адамейко, впустила вас Варвара Семеновна, или не стучались еще раз?

Он оглянулся — рядом с ним стояла старуха-прислуга из второго этажа. От неожиданности он вздрогнул.

— Нет... нет. Иду вот только. А что — вернулась она, что ли? — спросил Ардальон Порфирьевич и равнодушно откусил больший, чем следовало, кусок рогальки: почувствовал, что от этого дыхания стало тесно.

— Какой — вернулась! Мы вот втрех и разговариваем... — Старуха кивнула на двоих женщин, стоявших поодаль. — Чего ей возвращаться-то, коли, по-нашему, она и не уходила. А собака ейная за дверью все плачет да и только. Собака чувство имеет...

— Это верно, верно она говорит! — в один голос поспешили теперь поддержать старуху обе женщины. — Я уже мужу моему — Сергею, дворнику, значит, — говорила про подозрение наше... — продолжала одна из них. — Так он говорит: «Как она, — Пострункова вдова, значит, — до вечера не откроет, и собака визгу своего не прекратит, — так я, — говорит, — управдому доложу — и все тут, потому что не иначе, как происшествие и в мое, — говорит, — дежурство даже»... Так и сказал!

— Ерунда! — прервал ее Ардальон Порфирьевич, с трудом проглотив рогальку. — Никаких не может быть таких случаев... Никаких подозрений. Ваших подозрений, бабьих, простите!.. — уже весело и спокойно добавил он. — Вот я иду домой и опять постучусь к ней...

Он направился к флигелю; женщины в сопровождении нескольких ребятишек, прислушивавшихся к разговору, пошли вслед за Адамейко.

С той же беспечностью, даже напевая что-то, он быстро вбежал по лестнице, шагая сразу через две и три ступеньки, и согнувшееся и сильно наклонившееся вперед тело его, словно отталкиваемое при каждом движении пружиной, — было остро и упрямо, как у велосипедного гонщика.

На последней площадке, где помещались его и Варвары Семеновны квартиры, Адамейко мигом остановился, открыл французским ключом дверь к себе и, не закрывая ее, пошел быстро в столовую..

Через минуту, когда сопровождавшие его со двора женщины и несколько ребятишек были уже на площадке, они застали Ардальона Порфирьевича стоящим у дверей соседки.

— Ну-ка-сь, с божьей помощью, постучимся! — сказала прислуга-старуха и перекрестилась.

Адамейко нанес в дверь несколько громких и коротких ударов. В ответ — жалобный лай и — потом — скулящий визг собаки.

— Ах, ты, господи, господи!.. — для чего-то начали креститься все три женщины, а дети, облепив дверь, всячески колотили по ней кулаками.

— Вот вам и сон-то мой черный! Будто лежу это я в бане...

— Да, уж не знаю, что думать!.. — как-то вяло вдруг и глухо сказал Адамейко. — Дворника, что ли, позвать? Ведь скоро семь часов... Пора ведь...

— Дворника, дворника... Сергея моего, да!.. — всполошилась его жена. — Ванюшка, поди позови мужа моего... живо только! Может, нужно и Павла Родионыча — председателя, да управдома, да милицию?!

— Все... все будут!.. — усмехнулся, глядя на нее, Ардальон Порфирьевич и отошел к перилам.

Облокотившись на них и свесив голову вниз, он заглянул в глубь пролета, точно высматривая, не идет ли уже дворник. Женщины шушукались возле дверей.

Пролет был широк, и образовавшие его лестницы казались теперь сверху изломанными, наподобие многоугольной буквы зет, каменными зубчатыми полосами, которые вот-вот с грохотом обвалятся при первом, даже легком, ударе по одной из них; а то уже и наоборот: упорные и крепкие, прочно прилаженные к каменным сцепкам площадок, лестницы эти, оставив между собой скосившийся вбок колодез пустоты, давили теперь сознание Ардальона Порфирьевича своей тяжестью и крепостью, а зигзагообразный пролет неожиданно притягивал теперь облокотившееся на перило его легкое тело.

Ардальон Порфирьевич мысленно видел уже, как летит оно мелким куском вниз, как ударяются его плечи, руки,

колени о холодные тупые ребра ступенек, а потом—плашмя падает он наземь, на твердые плиты вестибюля...

— Ух, чорт!.. — отпрянул он, вздрогнув, назад и невольно зашатался.

— Идем, дяденька!.. — Дворник идет, и милиционер под воротами курит!.. — раздалось несколько детских голосов снизу. — Вот сейчас... Мы с дворником... — и через несколько секунд, в сопровождении ребяташек, он появился на площадке.

Становилось уже тесно, и ребяташек согнали на несколько ступенек вниз.

— В чем тут дело, граждане?

— Я ж тебе, Сергей, рассказывала: про вдову-то, гражданку Пострункову... Уж сколько времени, как не отвечает никто, окромя собаки. И подозрительно, Сережа!..

Дворник окинул взглядом присутствующих, сказал «здрасьте» Ардальону Порфирьевичу и почему-то вытер при этом правую руку своим, сшитым из мешка, передником.

Потом он, не говоря ни слова, сделал шаг по направлению к двери и, — словно у него не было доверия к бабьим словам, или считая, что нужно и полагается самому попробовать, — несколько раз под ряд громко постучал в дверь.

И вновь тот же ответ: приближающийся визгливый лай собаки.

Он взглянул в замочную скважину — в ней торчал изнутри ключ. Хотел потрясти верхнюю половинку дверей — она почти не поддавалась.

— Так и есть, — деловито произнес дворник. — Дверь на крюк взята и на ключ тоже. Все как полагается, честь — честью!

— Слесаря, мастерового позвать надо, в третьем номере проживает! — торопливо подсказала ему жена.

— Как есть ты — без всякого хозяйского соображения, баба! — угрюмо посмотрел в ее сторону дворник. — Прикинула бы ты только в уме своем: замок тут портить надо? — Надо. Окромя — французский сломать, крюк выламывать да еще, может, цепочку спиливать, а!.. Как уже входить насильственно и без лишней порчи, — так чрез черный только

следует. Там что? — Один крюк да французский: всего два предмета у двери! Эх, бабы, а еще тоже в коммунальный профсоюз, бывает, суются!.. — иронически и презрительно сплюнул он и начал спускаться вниз.

Все, в том числе и Ардальон Порфирьевич, последовали за ним.

Через десять минут к квартире Варвары Семеновны Пострунковой по черному ходу направлялась почти вся домовая администрация во главе с председателем правления и управдомом, а также и Адамейко и приглашенный с улицы постовой милиционер.

— Сначала французский выключай!.. — отдавал распоряжение слесарю посасывавший трубку председатель правления дома. — Может быть, дверь сразу же и откроется... А собачонка, собачонка-то как заливаается!

Так оно и случилось; как только замок был снят, дверь легонько приоткрылась, и жалобно визжащая собака выскочила на площадку.

— Ну.. посмотрим, что ли?.. — с волнением оглянулся на всех председатель. — Проходите, товарищ... — пригласил он учтивым жестом плечистого милиционера. — Дворник! Сергей! проходи!..

Дворник и милиционер первыми вошли в квартиру, за ними и все остальные.

Первые живые существа, увиденные здесь, кроме собаки, были мыши.. Несколько зверьков юркнули по кухне, бросились в маленький коридорчик, в дыру возле уборной.

— Фу, ты, отродье! — брезгливо сплюнул председатель.

— Одна нечисть тут, клянусь! — вырвалось у Ардальона Порфирьевича. — Все, заметьте, «Николай Матвеевичи» бегают, — усмехнулся он, напомнив тем присутствующим о странностях вдовы Пострунковой.

Из маленького коридорчика все потянулись за милиционером, открывавшим уже дверь в спальню хозяйки квартиры.

Он сразу же увидел: на коврикe, у самой кровати, лежало бездыханное тело Варвары Семеновны...

— Ух... ты! — вскрикнуло сразу несколько голосов.

Руки и ноги Варвары Семеновны были неумело связаны полотенцами; голова безжизненно спала на бок. Веки —

напряженно сжаты, и из-под них, как из-под плохо спущенных штор, смотрел стеклянный краешек тускло-серых глаз.

— Налет! — кратко и выразительно сказал милиционер и вынул из кармана записную книжечку со вложенным в нее огрызком чернильного карандаша. — Какой это номер квартиры? — спросил он.

— Двадцать седьмой...

— Прошу вас, граждане, никак до нее не прикасаться, потому инструкция не позволяет. Дворник, не впускай сюда никого постороннего с улицы, слышь! Товарищ управдом, пишете маленький протокол, а я вызову по телефону угрозыск...

Пока выполнялись необходимые в таких случаях формальности, Ардальон Порфирьевич внимательно оглядывал комнату.

— На полу разбросаны были различные вещи покойной — ворох носовых платков разных размеров, два платья, кружева, какие-то бумаги, поломанные счеты, мотки спутанных ниток, серебряный портсигар и многое другое.

Адамейко осторожно, стараясь не наступить на каждую из этих вещей, направился в гостиную, где так недавно еще был и разговаривал с Варварой Семеновной.

Неожиданно взгляд его остановился на маленьком предмете, лежавшем у ножки зеленого диванчика. Ардальон Порфирьевич вздрогнул и, быстро оглянувшись, не видит ли кто-нибудь, так же быстро и проворно поднял его с пола.

Если бы в этот момент кто-либо посмотрел на Ардальона Порфирьевича, то увидел бы, как мало крови было сейчас в его лице и как жадно и изумленно светились его воспаленные глаза!

Но никто за ним не следил, и Адамейко незаметно для всех положил найденный предмет в боковой карман своего пиджака и вернулся в спальню покойной вдовы.

Из чувства справедливости и уважения к внимательному читателю нашему следует тут же, хотя бы очень кратко, объяснить неожиданное удивление и волнение Ардальона Порфирьевича в тот момент, когда взгляд его упал на упомянутый выше предмет.

Мы это и делаем: поднятый им возле диванчика темно-розовый батистовый платочек с круглой выжженной дыркой посредине — принадлежал Ольге Самсоновне! Совпадение не могло быть, а самый платочек этот хорошо уж был знаком Ардальону Порфирьевичу.

...Через четверть часа прибыли два агента уголовного розыска, осмотрели внимательно всю квартиру, записали фамилии всех присутствующих, — и начался опрос их, как будущих свидетелей по «делу об убийстве 9 сентября 192... года гражданки Варвары Семеновны Пострунковой, проживавшей в доме № 14, в квартире № 27 по С-ской улице».

Когда дошла очередь до Ардальона Порфирьевича, он подробно рассказал, как несколько раз в течение этого дня стучался в квартиру убитой и как помогали ему в этом некоторые жильцы и соседи по дому.

— Больше ничего не можете сообщить? — спросил один из агентов.

— Больше ничего, к сожалению!.. — ответил Адамейко и поставил под показаниями обычный свой завитушечный росчерк, загнувший длинненький хвост свой в середину круглой, как арбуз, заглавной буквы «А» его фамилии...

## ГЛАВА VIII

Описанные в предыдущей главе события происходили, как мы уже сказали, ровно через двенадцать дней после того дня, как Адамейко встретил жену Сухова, образ которой теперь не покидал его и все время, пока перед глазами находилась его собственная жена — Елизавета Григорьевна.

Как и в знаменательный день 9 сентября, так и теперь, торопясь в свой ларек, Елизавета Григорьевна поручила своему мужу зайти к Варваре Семеновне и взять взаймы у нее сто рублей, обещанных соседкой еще накануне.

Адамейко, не всегда с охотой посещавший вдову, — теперь даже обрадовался: он вспомнил, что в кармане у него осталось только три серебряных монеты, а получив деньги у Варвары Семеновны, он сможет несколько рублей оставить для себя, тем более, что необходимость в них теперь

отчего-то настойчиво связывалась с мыслью о предстоящем посещении квартиры Сухова.

И, когда жена ушла, спустя некоторое время, вышел и Ардальон Порфирьевич, направившись к соседке.

Он легонько раза три постучал в дверь, и через минуту ему открыла сама хозяйка.

— Простите, — сказал учтиво Ардальон Порфирьевич, — я к вам по поручению жены...

— Знаю... знаю... Уж отложены, приготовлены. Для Елизаветы Григорьевны я с удовольствием, пожалуйста! Проходите, милости просим...

И Варвара Семеновна, набросив на дверь крик, пошла вслед за гостем в комнаты; пугаясь под ногами, приветливо повизгивал Рекс.

— Садитесь, Ардальон Порфирьевич, — пригласила его хозяйка, когда они очутились в маленькой узкой комнате, служившей Варваре Семеновне столовой. — Что? Торопитесь? Да некуда вам торопиться в такое время, — вместе чай и откушаем. Вот и чайник горячий, и вареньем угошу, и коржиков сладких дам...

— Благодарю, — сказал Адамейко и пригнул вежливо голову. — Я уж в другой раз как-нибудь... У меня сегодня, Варвара Семеновна, дело неотложное...

— Вот как! — улыбнулась, прищурившись, вдова. — Не сегодняшняя ли ваша знакомая — и есть это дело, батюшка вы мой? а?.. Ну, ничего, — я шучу!.. — слегка посмеивалась она.

Вряд ли следует здесь объяснять читателю, что Варвара Семеновна и была той женщиной, которую так напугал сегодня утром в скверике Адамейко; это стало уже очевидным из предыдущей главы нашей повести.

— Вижу, что шутите, — коротко улыбнулся уже и Ардальон Порфирьевич и присел на стул, стоявший одиноко у стены.

Он решил уже не уходить тотчас же. То, что соседка, давая займы деньги, могла рассчитывать сейчас на некоторое послушание и обычную в таких случаях учтивость гостя, — обязывало его не отвергать гостеприимства Варвары Семеновны. К тому же последняя была настойчива в своих

приглашениях, — и это еще больше связывало Ардальона Порфирьевича.

Но, кроме этого, была еще одна мысль у него, говорившая за то, чтобы принять приглашение соседки: то, что она упомянула неожиданно про Ольгу Самсоновну.

Не подозревая того, насколько эта случайно встретившаяся женщина занимала теперь мысли Ардальона Порфирьевича, Варвара Семеновна, вспомнив о ней, невольно и неожиданно обострила их и усилила тем самым внимание гостя к своим словам.

Адамейко почувствовал, что ему стало вдруг приятно от одного упоминания про Ольгу Самсоновну, хотя он знал, что, продолжая о ней разговор, вдова Пострункова вряд ли скажет что-либо хорошее об этой женщине, к которой отнеслась не совсем дружелюбно сегодня утром в скверике.

Но Ардальону Порфирьевичу был приятен уже самый разговор об Ольге Самсоновне, а вдова Пострункова была пока первым и единственным человеком, с которым можно было вести эту беседу, — и он решил потому на некоторое время остаться.

И чтоб не обрывать начавшегося уже разговора, Ардальон Порфирьевич сам уже старался подтолкнуть на него Варвару Семеновну, кстати сказать, действительно любившую посплетничать.

— Конечно, шутите, — сказал Адамейко, придвинувшись вместе со стулом к столу. — Но, между прочим, заметьте, сегодняшняя знакомая может хоть у кого возбудить интерес!

Этих слов было совершенно достаточно, чтобы Варвара Семеновна почти скороговоркой, оживленно сказала:

— Ах, вот как! Сейчас, сейчас, батюшка, потолкуем... уж мы потолкуем! Вот я только коржички и варенье возьму... сейчас, сейчас, Ардальон Порфирьевич...

«Ключуло!» — подумал Адамейко.

— И, чем это она может интересовать порядочного человека? — продолжала вдова, когда на столе уже все было расставлено, и гостю была подана большая фарфоровая чашка чаю. — Скажите-ка на милость, вот уж не сказала б я этого, Ардальон Порфирьевич!.. Рыжая и стриженная, папироски

у мужчин выпрашивает среди бела дня не хуже, чем другой кто... известной вам профессии... Какой же тут интерес, кроме обыкновенного, денежек, простите, требующего? Ровно никакого. А, к тому же, заметили вы, батюшка, что от платья ее шел дух нечистоплотный и неприятный, извините, к которому интереса, по-моему, ни у кого не будет... Заметили?

— Не обоял! — уклончиво сказал Адамейко. — «Врет, подлая!» — подумал он про себя.

— Не заметили? А я заметила. Я все хорошо замечаю...

— А она все-таки красивая... По-особенному красивая. У нее глаза особенные, — продолжал Ардальон Порфирьевич медленно и тихо, словно повторял эти слова для самого себя.

— Ах, скажите-ка на милость, — глаза! — с презрительной усмешкой воскликнула Варвара Семеновна и поставила вновь на блюде чашку с чаем, которую только что хотела поднести к губам. — Ну, что ж, что глаза? Ест она вашего брата, мужчин, и не посолит даже! И безразлично ей, батюшка, красавец ли, или урод какой... мужчина незначительный! Лишь бы польза от него, — уж я ее сразу раскусила. А потом — что глаза? Врут они, бывает, — подло врут, Ардальон Порфирьевич... Знала я одну женщину — порядочную как будто, семейственную. И муж у нее духовного звания. Так у нее глаза — две овцы да и только! А оказалось что? Развратница из развратниц. Понимаете?.. Глаза — это маскарад один.

— Понимаю, — вежливо улыбнулся Ардальон Порфирьевич. — Помню. Это про него упоминал в день смерти уважаемый Николай Матвеевич?..

— Про нее! — сорвалось у Варвары Семеновны.

Но она тотчас же спохватилась и быстро добавила:

— Муж мой насчет себя самого шутил только. Это, конечно, с другим человеком случилось...

Видно было, что Варвара Семеновна очень смутилась; она на минуту умолкла, а потом, вдруг, неизвестно для чего, начала передвигать предметы, стоявшие на столе, и усиленно предлагать гостю коржики и вторую чашку чаю, хотя Ардальон Порфирьевич едва только отпил еще из первой.

Этот короткий разговор его с соседкой, никак почти не значащий для дальнейшего хода событий, так быстро приведших Ардальона Адамейко на скамью подсудимых, все же способствовал тому, что мысль его все больше и больше наполнялась образом Ольги Самсоновны.

И то, что неприятная ему соседка говорила о ней так недружелюбно и даже враждебно, — еще сильней увлекало его мысль, а образ жены Сухова становился для него вдруг загадочным и потому еще более притягивающим.

Ардальон Порфирьевич наскоро хлебнул остаток чая в чашке с тем, чтобы, получив у вдовы деньги, встать уже и отправиться на Обводный — по сообщенному ему Суховым адресу. Но в это время Варвара Семеновна куда-то вышла из столовой, — и Адамейко, слегка отодвинувшись от стола, начал заигрывать с собакой, с пушистым Рексом, давно уже вертевшимся подле него и заискивающе и просительно заглядывавшим в глаза.

— Кушай! — ласково сказал Ардальон Порфирьевич и бросил собаке один за другим два сладких коржика.

Собака быстро съела их и, виляя хвостом, вновь подбежала к столу. Адамейко опять бросил ей несколько коржиков, а один из них смазал даже слегка маслом, стоявшим тут же, на столе.

За этим занятием застала его вернувшаяся Варвара Семеновна.

— Балуете, очень балуете!.. — укоризненно сказала она, покачав головой. — Хотя это хорошо, — добавила она с улыбкой. — Кто с животными ласков, тот, говорят, и человека никогда не обидит. Есть даже такие, что и комара убить стесняются... Правда?

— Не знаю. Я вот... никого убить не могу, — сказал вдруг Ардальон Порфирьевич.

И замолчал.

— Упаси, господь! — вздрогнули плечи Варвары Семеновны. — А есть ведь такие... Еще с малолетства боюсь их... Убьет он человека, или даже нескольких, и ходит потом спокойно среди публики и разговаривает, будто именно комара какого прихлопнул..

«Дура!» — подумал Адамейко.

— Я вот именно... никого убить не могу, — настойчиво повторил он. — Хотя иной раз от настоящего убийцы не отвернулся бы, заметьте.

— Как так? — недоумевающе посмотрела на него Варвара Семеновна.

— Очень просто. Убить я не могу, потому что сразу, как только и сделал бы это, — заговорить бы с убитым захотел! Страсть, как бы захотел! Вот так подумаю: минуту тому назад говорил этот человек? Говорил! Ну, скажем, выстрелить в него или топором ударить — ведь глупость, прикасание только ничего не стоящим предметом. Так почему же он после того не говорит?! Ведь насмешка даже получается, издевательство над убийцей... Не так? А оттого, что он вдруг и не смог бы мне сказать, например: «Который час, Ардальон Порфирьевич?..», или другое что, я б мучился сам и мог бы прийти в умственное расстройство. Но, чтоб убить кого, — желать могу... Это даже просто, заметьте. И убийцу чаем даже накормлю или обедом даже...

— Э, нехорошо с вами, батюшка! Нехорошо с вами творится... Болезнь у вас, Ардальон Порфирьевич! — заволновалась вдруг Варвара Семеновна. — Вы и утром, извините, странный какой-то были... Известное дело, без занятия служебного — тяжело и обидно. Это понятно. Так вам денег дать? Сделайте милость... — торопливо говорила она, направляясь в спальню.

Адамейко слышал, как открывала она ящик комода, и знал уже, что — один из нижних, так как скрип выдвигаемого дерева был протяжный и не легкий, и Ардальон Порфирьевич представил себе длинный, туго набитый акуратно сложенным платьем ящик, под этой тяжестью накренившийся теперь книзу. И там, среди различной материи, вдова Пострунова хранит, вероятно, значительную часть своих денег...

Когда услышал скрип и возню у комода, неожиданно подумал: «Такие вот и ждут своего владыку с топором...»

А когда на секунду наступила тишина, — так же неожиданно пришла и другая мысль, не раз появлявшаяся, но не имевшая, — как в этот раз, — ясных очертаний: будто соседи

нет уже в живых, вот только что кто-то ударил ее тихо и коротко по голове, неслышно упало ее тело на коврик, молчит и фбийца, и вог — тишина..

Позже уже Адамейко ни разу не вспомнил этой мысли, хотя многое из того, о чем он сейчас думал, напомнило бы ему обстоятельства, при которых ушла из жизни Варвара Семеновна..

Тишина. Так уж кажется Ардальону Порфирьевичу, только кажется — потому что вдова Пострункова давно уже закрыла ящик комода — опять скрипело дерево, один раз громко кашлянула, что должно было быть слышно в столовой, и приближалась уже сюда, шлепая туфлями.

Но мысль Ардальона Порфирьевича некоторое мгновение жила, словно отделившись, потеряв своего хозяина и его слух.

И, когда на пороге появилась Варвара Семеновна, неся в руках деньги, и сказала:

— Вот... пожалуйста! — Ардальон Порфирьевич вздрогнул и не сразу смог ответить ей.

Он пристально и с каким-то непонятным для нее любопытством смотрел теперь на хозяйку квартиры.

«Вот убили, а вот — ожила... И ничего, ничего не случилось... Все, как было. Хорошо... Она ничего не знает... Фу, сумасшедший я!..» — одним коротким миганием упала уже мысль

— Пожалуйста... — повторила опять Варвара Семеновна и протянула ему деньги.

— А-а... Спасибо, спасибо! — заторопился Адамейко. — Может, вам, Варвара Семеновна, расписку дать? — учтиво пригнулся он.

— Что вы, Ардальон Порфирьевич! Бог с вами... Да разве я этим делом занимаюсь? Что это вы сегодня, простите меня только, лягнули?! Я ведь это только для Елизаветы Григорьевны... и для вас! — сказала вдова, оскорбленная его словами.

— Действительно... Простите, Варвара Семеновна! — не ловко улыбался Ардальон Порфирьевич, пряча деньги в карман. Спасибо... Через дней десять отдадим вам.

И, попрощавшись с соседкой, он вышел на улицу.

До того места, где жил Федор Сухов, было порядочное расстояние, и Адамейко, охваченный желанием поскорей

увидеть вновь Ольгу Самсонову, быстро зашагал по направлению к Обводному. Но, пройдя так два квартала, он вдруг замедлил шаг, и походка его стала спокойной, размеренной и даже чуть вялой, так что кому-либо, следившему за ним со стороны, могло бы показаться, что вот-вот человек этот совсем остановится или даже присядет на один из ближайших каменных столбиков, огораживающих узкий тротуар.

Близкий прохожий мог бы подумать, что у Ардальона Порфирьевича большое сердце и что оно устало теперь от быстрой ходьбы: Адамейко громко дышал, приоткрыв рот и оттопырив свои узкие губы.

Но эти предположения прохожего, однако, не были бы близки к истине... Сердце у Ардальона Порфирьевича было здоровое, никакой усталости сам он не чувствовал, и если неожиданно и замедлил шаг свой и начал громко дышать, то произошло это по совершенно другой причине...

Мысль о предстоящей встрече с Ольгой Самсоновной вначале невольно ускорила его шаги, и первую часть своего пути Ардальон Порфирьевич, как мы уже сказали, прошел быстро, не замечая расстояния. Но, когда он свернул на одну из Рот, откуда, через переулочек, лежала прямая дорога к Обводному, — неожиданно замедлил шаги, и по лицу его в этот момент скользнула короткая, как вспышка отсыревшей спички, улыбка, уроненная неизвестно почему вдруг пришедшей мыслью о самом себе.

«Торопишься?... — думал о себе во втором лице Ардальон Порфирьевич. — Так... Торопишься, значит?... А почему это? — спрашивал он у самого себя, оттопырив губы и громко дыша. — Зачем спешишь? Не ждет ведь она тебя... Он-то, может, и ждет, если рассказала ему про сегодняшнее утро. А она — нет! Что ты для нее, а? — Случайный гражданин и невзрачная личность — вот что! А ты горячишься сейчас, спешишь, будто и ей самой нестерпимо... А ты! потише, вот за эту самую дурь — потише, медленней! Побори себя. Или не можешь?... Сдержи себя, нарочно побори. Или не можешь?..»

— Ерунда! — громко уже самому себе ответил Ардальон Порфирьевич. — Как это не могу! Все могу...

И он нарочито убавил шаг, умышленно отдаляя тем встречу с Ольгой Самсоновной, от которой сам еще точно не знал, чего ожидать.

Он вспомнил, как почти точно такую же борьбу с самим собой он вел неоднократно в жизни, но больше всего запомнились два случая, всегда живо стоящие перед глазами.

Первый из них случился с Ардалионом Порфирьевичем еще в ту пору, когда он обучался в пятом классе коммерческого училища на Васильевском, откуда его в тот же год и исключили, после чего Адамейко не пытался продолжать свое образование, — и заключался этот случай в следующем.

На одном из своих уроков преподаватель немецкого языка Ратенау, прослуживший в русской школе тридцать пять лет, показал ученикам подарок, полученный им к юбилею от своих товарищей по педагогическому совету. Это были крупных размеров золотые часы, на внутренней стенке которых была соответствующая надпись.

Немец с гордостью демонстрировал эти часы ученикам, и часть его урока в этот день ушла только на упомянутое занятие, собравшее вокруг учительской кафедры весь класс.

Адамейко вместе со всеми подолгу рассматривал юбилейный подарок и вместе с другими поздравлял старика Ратенау. Но он не любил немца: последний казался ему весьма чванливым и сухим человеком, открыто презиравшим все характерно-русское, несмотря на то, что почти всю свою жизнь старик провел только в России. К тому же, были еще причины, — и для Адамейко в то время они имели еще большее значение, — вызывавшие с его стороны неприязненное отношение к старику Ратенау: немец, казалось, был особенно придирчив к нему, и в журнале против фамилии Адамейко всегда красовался густой частокोल единич и двоек.

Часто в уме Адамейко зарождалась мысль школьника об отыщении немцу, но всякий раз она бессильно опала, потому что Адамейко не находил удобного и безопасного для себя случая осуществить эту мысль, да к тому же он и не знал, в чем именно должна заключаться задуманная месть.

Часы Ратенау дали неожиданный толчок этой мысли, и Адамейко уже чувствовал, как быстро и упрямо она росла

Он старался подольше задержать в своих руках золотые часы, любовался вместе со всеми их механизмом и в то же время лихорадочно обдумывал возможность и способы отмщения немцу-учителю, сегодня меньше всего ждавшему каких-либо неприятных проказ со стороны школьников, разделявших, очевидно, его радость и приподнятое настроение.

«Хвастаешь, хвастаешь!.. — думал в это время Ардальон Адамейко, а сердце усиленно билось, подстегиваемое злой мыслью. — Всем своим знакомым, небось, растрюбил уже про подарок... А вдруг его и не будет — а, старый подлец?! Наверное, заплачешь, — ей богу, заплачешь!..». Но он не знал еще, что нужно сделать

И, когда немец, отобрав, наконец, часы, клал их обратно в карман жилетки, Адамейко растерянно и злобно следил за костлявой и длинной рукой старика, так просто и легко разбившей его мальчишеские планы...

«Клянусь... Клянусь, что у тебя часов не будет!» — почти истерично кричало у него что-то изнутри.

И, действительно, в этот же день немец Ратенау обнаружил пропажу юбилейного подарка, а виновника ее так и не нашли. Никто не заметил, никто не знал того, что в то время, когда старик, плотно окруженный толпой учеников, после окончания урока протискивался к двери, — чьи-то маленькие дрожание пальцы, с ловкостью опытных — воровских, мгновенно и легко вытащили золотые часы из оттопырившегося карманчика синей жилетки и быстро бросили их в ученический ранец, находившийся в другой руке: урок немца был последним в этот день, и школьники торопились уже по домам...

«Вор?!» — говорил сам себе Адамейко, разглядывая дома золотые часы. — «Нет, не вор, — отвечала собственная мысль. — Не вор: не для себя вытащил и без всякой корысти... И никогда в жизни ничего не крал!» — «Возврати! — предлагала уже другая мысль. — Незаметно подкинь часы немцу...». — «Нет! — отвечал Адамейко: — я себя не боюсь!..»

И поздно вечером, выйдя из дому, он направился к набережной. Уже у самого берега Невы он остановился и вынул из кармана золотые часы. Минуту он разглядывал их, —

и вдруг ему стало жаль с ними расставаться; о старике-немце он ни разу не вспомнил.

«А, может, не надо?..» — жалобно спрашивала мысль.

Часы лежали на ладони, — и Адамейко представилось, что в руках его бьется чье-то живое, кровоточащее сердце...

«Поборю! — ответил он своей мысли. — Добьюсь!..»

И, крепко сжав рукой часы, он вдруг размахнулся и бросил их в воду...

Еще большую борьбу с самим собою Ардальон Порфирьевич вел в другой раз, когда дело шло уже о близкой ему по крови человеческой жизни.

Рассказанный ниже случай мог заинтересовать даже общественное мнение Петербурга: по крайней мере, с этой целью, очевидно, напечатали о нем в одной из здешних газет, и тогда-то впервые имя Ардальона Порфирьевича, как, в некотором смысле, «героя» попало в печать.

Дело происходило в первые дни революции. Двадцатилетний Адамейко искренно сочувствовал народному мнению, но непосредственного участия в нем принять, к своему сожалению, не мог, так как не знал лично не только разыскиваемые тогда сановников, но и городских, предусмотрительно сбросивших теперь свою полицейскую форму.

Однако скоро представился случай, позволивший Ардальону Адамейко активно доказать его преданность революции: в квартиру его вдовствующего отца, мелкого служащего какой-то ссудо-сберегательной кассы, неожиданно приехал из провинции родной брат его покойной матери, «дядя Николай», которого Адамейко знал до сих пор только по фотографической карточке. В первый же вечер Адамейко узнал, что «дядя Николай», служивший в губернском городе полицмейстером, принужден был оттуда бежать в Петербург, где рассчитывал на сочувствие и содействие родственников. Полицейстер сбросил свои пушистые, запечатленные на карточке усы и сам говорил, что «похож теперь на знаменитого депутата Государственной думы, ворочающего делами юстиции...»

Но больше сходства у него было все же с покойной своей сестрой, и Ардальон Адамейко, любивший свою мать, с любо-

пытством и даже с некоторой нежностью вглядывался в лицо полицмейстера.

Последний благополучно прожил с чужим паспортом несколько дней у своего зятя, не зная того, какие, одновременно, два разных чувства вызвал он своим приездом у племянника.

Так и неизвестно, как поступил бы тогда сдерживаемый памятью о матери Адамейко, но насмешливое и обидное отношение бывшего полицмейстера, проявленное им однажды в разговоре, к наиболее известным людям революции, — решило уже его участь: ночью пришли гурьбой студенты-милиционеры, и «дядя Николай» был арестован, а о поступке Ардальона Адамейко было напечатано в газете.

Недаром оба эти случая вспомнил Ардальон Порфирьевич, шагая теперь к Обводному, к дому Сухова: они служили в памяти теми рубцами, по которым вспоминается рана; они оставили наиболее заметный след его самоборства.

Точно такое же чувство, как мы уже сказали, охватило теперь Ардальона Порфирьевича; но на этот раз оно было еще острее и более волнующим: красота Ольги Самсоновны притягивала к себе, звала, и Адамейко чувствовал уже всю значительность для себя случайной встречи с этой женщиной.

Выйдя на самый Обводный, Адамейко вспомнил, что хотел прийти к Сухову с каким-либо гостинцем и что, конечно, лучшим подарком в данном случае будет что-нибудь съедобное, — и он, зайдя в булочную, купил свежего ситного и десяток сдобных рогаляк.

Через пять минут он подошел уже к дому, где жил Федор Сухов. Это был типичный «петербургский» дом, вернее, — несколько совершенно одинаковых, образующих прямо-угольник двора, домов — громадных, шестиэтажных, и от одной стороны этого прямоугольника внутри двора тянулись параллельно друг другу еще два таких же высоких дома, но более коротких, так что внутри всего двора были еще три маленьких дворика.

Дом этот был густо населен преимущественно семьями рабочих, кустарей и мелкими торговцами, и по двору проходило одновременно множество народа, и стоял звонкий и

беспорядочный крик и шум, производимый десятками детских голосов.

Дети и подростки в нескольких местах играли в футбол, а Ардальон Порфирьевич заметил, что у большинства детских «команд» футбольным мячом служили туго и кругло сшитые тряпки, а, в лучшем случае, маленький крокетный шарик или выпускающий каждую минуту воздух, неуклюже шлепающийся по асфальту, простой резиновый мяч.

Вперемежку с детьми бегали и орали по двору, — и отвечали им с крыши, — большие и малые кошки и коты — рыжие и черные, жирные и тощие, и шел от них едкий неприятный запах, особенно ощутимый на лестницах, и без того грязных и отдающих сыростью; тут же шла перебранка между двумя пьяными и их негодующими женами, и на весь двор вдруг взлетало — тяжело рассыпающейся, но ни у кого не возбуждающей уже интереса ракетой — бранное, матерщинное слово, и только кто-нибудь из играющих детей, услышав его, тут же бросал звонко детьми же придуманную рифму: «в лоб, в лоб!..»

Неуверенно прокричит где-нибудь «халат! халат!» перекупщик-татарин; залает чья-то собака; пропоют веселую частушку поздно работающие подмастерья-сапожники; упадет вдруг с верхнего этажа и вызовет испуг внизу разбитое вдребезги стекло из оконной рамы; протопают грузно по асфальту двора что-то привезшие домовые лошади-тяжеловозы, — и все это сольется в один неуникающий шум, гулко ударяющийся о немой громадный камень домов, одетых в лохмотья выцветшей, давно произведенной покраски...

Ардальон Порфирьевич долго искал квартиру Сухова: она оказалась на третьем дворе.

У самого подъезда он увидел вдруг Галку и бегающую подле нее собаку. Девочка тоже заметила его и даже прыгнула ему навстречу, дружелюбно улыбаясь, как старому уже знакомому.

— Здравствуй, дяденька... Ты к папе? — спросила она и с любопытством посмотрела на большой сверток, который держал в руках Ардальон Порфирьевич.

Она видела точно такие же свертки, в тонкой серо-желтой бумаге, выносимые людьми из кондитерской, где стояла

у двери и выпрашивала у выходящих копеечки, — и этот показался ей таким же соблазнительным и вкусно пахнущим.

Ее, схожие с отцовскими, живые темные глазки никак не могли оторваться от аккуратно перевязанной покупки, а бледные губы то-и-дело облизывал остренький кончик суетливо выглядывавшего языка.

Адамейко заметил это и поспешил обрадовать девочку:

— Вот и пришел я к вам, Галочка... Сладенькой булочки сейчас покушаешь. Ну, веди меня... Любишь сладенькую булочку?

— Да, да! Люблю, дяденька... Хочу. И Павлик любит, и мама... — весело и волнуясь заговорила девочка. — И Милка наша любит, дяденька... Милка, Милка! Иди сюда...

— Да... И Милка... — повторил отчего-то Ардальон Порфирьевич протяжно, словно в этот момент он что-то вспомнил. — Поди сюда, Милка! — крикнул он подбегавшей собачке. — Чем ты хуже... ничем не хуже той! — непонятно для девочки бормотал уже Ардальон Порфирьевич.

Он быстро разорвал бумагу и, вынув оттуда одну рогальку, протянул ее Галочке, отломив предварительно кусок для собаки.

— На! — бросил он его радостно взвизгнувшему шпицу.

— Спасибо, дяденька... — надкусывая рогальку, тихо сказала девочка. — И за Милку нашу спасибо!.. — добавила она, подымаясь на верхнюю ступеньку у входных дверей.

— Я ей еще и коржики и вкусные пирожочки принесу! Ест ваша Милка пирожочки? — как-то горячо и серьезно спросил вдруг Адамейко. — Ест, все ест, говоришь? Тем лучше. Я ей обязательно достану...

— Купишь? Милке купишь?.. — удивленно спросила Галочка.

— Нет. Я вот для Милки отберу у другой такой же милки! — усмехнулся он. — На каком же это вы этакже живете? — спросил он, следуя за девочкой.

— На пятом, дяденька. А ты только Милке можешь сладкие вещи достать? — продолжала девочка, и видно было, что в этот момент она не скрывает своей зависти к бежавшему впереди нее шпицу, для которого так легко, оказывается, достать вкусные пирожочки...

— Пока только Милке! — разочаровал ее Адамейко. — Но ты подожди, Галочка, — скоро и для людей отбирать будем... — опять непонятно для нее продолжал Ардальон Порфирьевич.

— А папе моему дадут коржики? — не оставляла теперь своей словоохотливости маленькая Галочка, забив свой рот сдобным мягким хлебом.

— Вот именно — папе! — опять горячо сказал Адамейко. — Твоему папе... твоему папе... — запыхавшись, повторял он, остановившись на площадке четвертого этажа. — Фу, отдохну я тут минутку, Галочка...

Сзади кто-то быстрыми шагами подымался по лестнице, словно нагоняя их. Так и оказалось.

— Простите, гражданин! — услышал Ардальон Порфирьевич уже совсем близко сзади себя чей-то незнакомый голос. — Скажите, пожалуйста, на какой площадке живет наборщик Сухов?

Адамейко оглянулся: ниже на пол-этажа стоял человек в парусиновом пальто и с таким же портфелем в руках.

— Выше этажом, — пояснил Ардальон Порфирьевич и продолжал подыматься вслед за девочкой, добежавшей уже почти до самых дверей своей квартиры.

— Спасибо! — ответил снизу человек и, к удивлению Ардальона Порфирьевича, начал быстро спускаться по лестнице.

...Когда Галочка позвонила, Адамейко вздрогнул, и глаза его сквозь дверь, мысленно, вновь увидели волнующий образ Ольги Самсоновны.

На пороге открытой двери стоял Сухов, сзади него — никого не было.

— Можно? — спросил Ардальон Порфирьевич и протянул Сухову руку...

## ГЛАВА IX

Первые минут десять прошли в ничего не значащих разговорах. Но они были не совсем обычны, — как случается то всегда, когда встречаются хорошо знакомые друг другу люди, — и оба собеседника, Сухов и Ардальон Порфирьевич,

отвечая друг другу, внимательно теперь каждый наблюдали один за другим. Задача обоих облегчалась тем, что в комнате, кроме них, никого не было: Галка убежала зачем-то на кухню, а Ольга Самсоновна возилась по соседству с больным Павликом и еще не выходила.

Живо поддерживая разговор и даже проявляя в нем инициативу, Адамейко в то же время присматривался к своему собеседнику и несколько раз оглядывал всю комнату, словно хотел запомнить каждую мелочь.

Ардальон Порфирьевич с первой же минуты заметил в Сухове некоторую разницу с тем, каким представлялся он ему во время первой встречи. Это и было вполне естественным и не заключало в себе чего-либо, что связывалось бы в глазах Ардальона Порфирьевича с личностью одного только Сухова: всякий человек — иной на улице и иной совсем — в комнате.

Если день тому назад Сухов показался ему угрюмым и несколько угловатым в своих движениях, а речь его резкой и затрудненной, то сейчас она была мягче и круглей, а сам Сухов — приветливей и более подвижным; даже щипчики его ногтей, осторожно и медленно ловившие волосок бородки, — эта привычка Сухова, подмеченная Ардальоном Порфирьевичем в первую встречу с ним, — даже жест этот сделался более живым и коротким и свидетельствовал теперь об учащенном беге мыслей Федора Сухова.

Между тем, Ардальон Порфирьевич не предполагал, что и сам он на этот раз вызвал у своего собеседника новые наблюдения: если и сам он чувствовал некоторое, — все увеличивающееся, — возбуждение, почти взволнованность, охватившую его еще по дороге сюда, и речь его оттого неволью становилась нервной, плохо сдерживаемой и подчиненной, как всегда бывало, осторожной, прислушивающейся к себе мысли, — то все это не могло остаться незамеченным для Сухова, для которого больше всего неприятны были два дня тому назад скользкие и выспрашивавшие слова этого случайного знакомого.

• Но Сухов не подозревал истинной причины подмеченной им разницы в поведении гостя.

В эту встречу положение их как собеседников переменялось: теперь говорил больше Ардальон Порфирьевич, а внимательный и присматривающийся Сухов с любопытством слушал его и каждым вопросом своим собеседнику хотел теперь, казалось, распахнуть перед собой всего его, как любопытный гость — все двери в чужой квартире.

Однако ничего не заметил он, когда Адамейко, нарочно не глядя ему в глаза, посреди разговора спросил вдруг:

— Интересуюсь очень именем и отчеством вашей жены... Неловкость, сами понимаете: утром разговаривали почти дружески, можно сказать, и тут вдруг остались мои слова без необходимого обращения...

— Жену мою Ольгой звать, а отец у нее — Самсон был. Вот и соображайте... — заулыбался Сухов.

— Ах, вот как! Ольга Самсоновна, Ольга Самсоновна, — повторил дважды Адамейко и посмотрел на дверь, за которой, слышно было, возилась с ребенком жена Сухова. — Очень приятно... очень даже интересно. Самсоновна... Имя редчайшее почти и геройство древнее напоминает. Очень сильное отчество! — как-то неожиданно и с комической горячностью закончил он.

Сухов громко расхохотался, но тотчас же оборвал свой смех и снизил голос почти до шопота.

— Сильное?! А у ней отец бакалейщик был — и только!.. Ну, и... преступник я! — вдруг насунился он. — Павлушка почти-что без памяти, а я глотку балую!.. Ведь если помрет, — себя самого удавить мне, да и только! Главная причина — это я ведь... Как полагаете?

Он взволнованно и ожидающе посмотрел на Ардальона Порфирьевича. Тот отрицательно покачал головой.

— Никак нет! Субъективное это, как говорится, разрешённые вопросы, вытекающих, заметьте, по причине объективных обстоятельств. Азбучная, конечно, это истина и не мной придумана: потому я ее так по-книжному и выговариваю... Вы волнуетесь сейчас, как отец, — понятно все это и очень даже, хотя человек я лично бездетный, как вам известно. Но вот по-другому еще тут волноваться можно. Рассудком волноваться — вот что! — блестяли уже загадочным огоньком болотные глаза Адамейко.

Видно было, что он обрадовался представившейся неожиданной возможности поговорить о том, что с момента знакомства с Суховым больше всего интересовало и по-своему волновало тогда Ардальона Порфирьевича, — человека, как мы уже сказали, привыкшего думать обо всем проникновенно и проявлявшего особый интерес к тем людям, которым и сам он мог бы показаться загадочным и потому привлекающим их внимание, так и к тем из них, кто привлекал его собственное любопытство некоторой исключительностью своего характера или жизни.

В данном случае Ардальон Порфирьевич был рад еще этому разговору и потому, что внутренняя острота его невольно заглушала взволнованность, испытываемую им при мысли о ближайших минутах, когда из соседней комнаты появится Ольга Самсоновна и разговор станет для него вдвойне труден.

— Рассудком волноваться... это труднее! — повторил он и коротко хлопнул себя по лбу. — А между тем, в этих, заметьте, самых интересных человеческих костях, то есть в костяной шкатулочке, — только и ищите истину...

— Какую? — посмотрел на него Сухов.

— Кровоточивейшую! — все больше оживлялся Ардальон Порфирьевич. — Самую что ни на есть... Ведь помните, сказал я вам про одно слово... помните? Вы еще не понимали, какое это... А между прочим, заметьте, сказали его твердо, с уверенностью даже, будто пароль какой: назови только — и все в порядке. А?

— А что же не в порядке? — разрасталось любопытство у Сухова.

— Очень просто... никакого пароля в том слове и нет, — один лозунг только, — заметьте, а внутри его, как говорится, одна спорная кость для людей — и только! И слово-то самое в один час и взрывчатое — «справедливость»!!

— А-а, вот что! — кивнул Сухов.

— Справедливость! — еще раз повторил Ардальон Порфирьевич. — Слово, заметьте, специально придуманное, вроде Иисуса Христа... Кровоточивейшее слово! Обманное слово для человека — так я смотрю! Для глупого человека, за-

метьте... А таких еще столько народится, сколько травы из земли выползет. И все будут искать этой самой справедливости, будто ребенок — грудь у матери. А вместо груди — кость, и вместо молока — кровь! Презираю! — горячо вскрикнул Адамейко.

— Кого?

— Очень просто даже — всех!.. Всех, в это слово верующих... Взять даже большевиков, к примеру. Уж, замечьте, не христосики это и не слюняйской породы люди! Верно? — Верно! — А между прочим, от слова этого не отказались. Растолковали только чуть по-иному его, но не отказались... Все равно, что вывеску в другой цвет перекрасили: торгуем, мол, «пролетарской справедливостью»... Ишь ты. И выходит, если подумать, — что? Соглашательство, как говорится, с глупыми!

— Опасный вы человек! — серьезно и задумчиво сказал вдруг Сухов.

— Новый я человек и... революционный даже, замечьте, — вот что! Может, у таких, как я, мудрость даже своя есть, но только никому она незаметная.. Потому и презираю, если хотите знать. В скромности своей и незаметности, — а презираю! Что? Кто я? — Ардальон Порфирьевич Адамейко, человек такой, что всякий безразлично пройдет мимо, не кричу я ничем... И на происхождении своем ни при старом даже, ни при новом режиме, как говорится, никак не отыграться. Ни дворянских, ни купеческих во мне кровей, ни рабочих, ни крестьянских, по-настоящему, замечьте, — не содержу в себе... Простого и серого, как арестантский халат, я сословия... группы: мещанин — вот что!.. А нелюбовь моя самая настоящая — к мещанину и есть только! И по-настоящему революционным себя считаю. Мещанин Адамейко, — а вот по-иному и понимайте! Вот сказали вы — «опасный человек»... А кому именно? — близко нагнулс я к своему собеседнику Ардальон Порфирьевич. — Кому? Вот что, вы и не скажете! То-то и дело... А я вот что скажу: тому опасным можно быть, кого на голову перерос, замечьте! Не так, а?

— Действительно, ум свой и странности выказывать любите! — вслух подумал о нем вновь, как и при первой встрече,

внимательно следивший за ним Сухов. — Простите, значит: это я без всякой обиды для вас... По чистосердечию!

— Понимаю, понимаю... — одобрительно кивнул Ардальон Порфирьевич, облизывая языком пересохшие губы. — Какая же может быть тут обида?.. Наоборот. Я и говорю. . Ненависть — и опасная — с моей стороны к таким людям, что, заметьте, всегда мне вроде дикого мяса кажутся. Так и вижу их всегда: мозоль без труда! И не то, что, к примеру, от мозолей этих больно, значит, или неудобство большое... Какой тут! Такую мозоль, как говорится, товарищи большевики давно срезали! Что ни на есть — по своей пролетарской справедливости сработали, — и правильно. Нет, я про другое.

— Ну?..

— Я про тихую мозоль людскую, заметьте... Никому с виду не мешает, и сапог, как говорится, от нее не жмет.

— А я уже подумал сию минуту, что вы, значит, Ардальон Порфирьевич, про нацманов, — а уж теперь не понимаю! — вырвалось у Сухова.

— Ошибочка! Но основание для нее, что называется, — классовое!.. — улыбнулся и задвигал ноздрями Адамейко. — Никак нет: не про это новейшее сословие я говорю, — на этот счет имею, кстати, особые взгляды... Ну, так вот... В революцию в мало-мальский живой предмет штыком тыкали, пулеметами целые армии распотрошили, справедливость в каждый суп, что называется, жирным куском пообещались положить, ради этого, как говорится, кровь с усердием проливали, — а дикое-то мясо человеческое в сторонке и забыли! Вот и есть настоящая несправедливость, товарищи-то прекрасные! Вот она самая и лезет на глаза, как всякий сор после наводнения...

— Не понимаю! — не утерпел опять Сухов и, облокотившись обеими руками на стол, придвинулся близко к Ардальону Порфирьевичу.

— Сейчас... Сейчас объясню все... обязательно все! — почти захлебываясь от возбуждения покрасневший Адамейко. — Я и сам теперь хочу... Дикого-то мяса много вокруг — вот что! Безвредного с виду... Вот постойте. Как бы это вам сразу пояснить?!.. Ну, да... Есть люди — и не к чему им жить!

А живут потому, что в революции их не доглядели, и сама-то революция кончилась и никого не обидит теперь, — потому лежит она, словно разобранный патрон: пистон в одном месте, а гильза — в другом! Вот-те и пожалуйте: детишкам на воспоминание... Так ведь?

— Не знаю..

— А я знаю! — заносчиво выкрикнул Ардальон Порфирьевич. — И обидно, заметьте, — продолжал он вдруг почти спокойно, не без лукавства посматривая на хозяйина квартиры, — обидно сознавать: может, на каждую тысячу пошибших и расстрелянных десятков умных и нужных граждан приходится, а тут всякая людская ветхость, как говорится, жить осталась и гнилые микробы разводит! Что? Вот человек вы пролетарского порядку, — жить бы вам только в полной приятности и уважении к труду своему: потому новый строитель вы — и все! Так? А получается что? Да сами вы знаете, что получается!.. А сколько у нас ненужности всякой, а?! Определяли? А я замечал ее, на категории даже разбивал этих живучих граждан, от которых, простите, смрадом воляет... Да, да! И за ними очень даже с интересом наблюдаю — вот что!.. Например, ходит всякая шантрапа по Невскому; посмотреть иной раз такому в лицо, — и поймешь сразу: кость у него в гниении от разврата и болезней, или вся жизнь у него в кокаине, или в казино шулером пристроился и торгует незаметно ворованным суконным материалом. Так ведь, а? Кому нужен, спрашивается? Или старуха какая, заметьте, полные двадцать саженей квартирной площади мебелью своей — еще от старого режима! — заставила и тихонечко ею подторговывает. Диванчик продаст — вот и месля-другой свободно небо коптить может... Не так? Чиновник, например, за выслугу лет по специальности в содстрахе или собесе пенсию от советской республики получает, а у самого, может, старых бриллиантиков каратов на десять где-нибудь в щелочке припрятано! И, к тому еще, заметьте, ходит он свободно по улицам, место ему иной раз в трамвае из вежливости уступишь, а он каждую ночь господа бога, паршивец, молит, чтоб наслал чуму на большевиков или всех негров африканских английского короля!

— Это все правильно... — усмехнулся Сухов, одобрительно вытягивая вперед свою голову. — Ну, а дальше как по-вашему?

— Дальше? Очень просто даже: ненависть у меня, клянусь, к ним всем! Ух, какал!.. Зачем, думаю, дикое мясо на молодом теле, как говорится, нашей рискующей республики, а? Дурная и тупая мозоль — вот что. Так и приходит иным разом фантазия в голову. .

— Фантазия? — отчего-то перебил его вдруг насторожившийся Сухов, словно вспомнив что-то.

— Ну, да, фантазия.. Попробовать... Понимаете... Попробовать, значит, уничтожить дикое это мясо. Опасная это фантазия, но волнует, заметьте, сильно даже! И отчего волнует и опасна — вот вопрос! Вот и сознаюсь, не могу не сказать уже... ведь в самом-то во мне, как и у всякого человека, к сожалению, — отравы внутри мысли: то самое обманное, кровоточивейшее слово волнует — «справедливость»! Вот, видали?.. У меня тут, как бы сказать по-научному, социальная фантазия в голове, вроде, может, сумасшествием другим представится: все бы это «дикое мясо» собрать да под одну пулю подставить, а блага, что после него останутся, употребить на пользу обиженных жизнью... А? Часто это я, заметьте, так думаю. И говорю сам себе: если, в самом деле, справедливость, то убийство даже ты, Ардальон Порфирьевич, оправдываешь!

— А сами-то убить бы могли?

— Сам бы? Я сам?.. — тихо и понуро переспросил Адамейко и отвернул голову в сторону, смотря поверх Сухова на дверь, за которой, — слышно было, — жена его убаюкивала больного Павлика

Ардальон Порфирьевич внезапно вспомнил, что не больше как два часа тому назад почти этот же вопрос был задан ему вдовой Пострунковой. Так же неожиданно и против своей воли, казалось, видел он перед глазами ясно представившийся ему тогда же момент убийства Варвары Семеновны, вынимавшей деньги из ящика комода, и, словно неотделимая надпись к кинематографическому кадру, так же неожиданно припомнились свои же слова, сказанные только самому себе: «Такие вот и ждут своего владыку с топором...»

Он вздрогнул, но тотчас же поборол в себе волнение.

— Если вы обо мне спрашиваете, то я по внутреннему убеждению, так сказать, — сознаюсь! — я мог бы оправдать такое убийство и личным, к примеру, участием! — не громко, но твердо и почти спокойно сказал Адамейко.

— Нет... Путанно говорите что-то. Вы мне по-настоящему скажите: убить бы... руками своими, значит, схватили б за горло? Или силы вашей... души, значит, нехватило б?.. — взволнованно и тоже тихо и скороговоркой спросил Сухов.

Он встал и совсем близко подошел к Ардальону Порфирьевичу.

Желтоватенькое бельмо на левом глазу жалобно, как показалось Ардальону Порфирьевичу, и слепо смотрело на него, а правый глаз был упорен и насторожен.

— Путанно? — повторил Адамейко. — Никакой пуганицы здесь нет: если хотите... то и сам мог бы убить! — ответил он нетвердо и, встав со стула, сделал шаг вперед в сторону открывшейся двери: выйдя сюда на цыпочках, стараясь не потревожить уснувшего ребенка, ее осторожно прикрыла теперь Ольга Самсоновна.

— Здравствуйте... — тихо поклонился ей Адамейко.

— Вот и есть жена моя. Хотя забыл я, что вы уже в знакомстве...

Сухов смотрел на обоих, мягко и приветливо улыбаясь. Улыбка эта на минуту стала растерянной и почти робкой и застенчивой, когда жена с недоумением посмотрела на большой кондитерский сверток, лежавший на столе.

— Это Ардальон Порфирьевич, — из любезности, значит, Ольгушка... Потратился он... Галке дал, а насчет остального порешили мы тебя ждать... хозяйку.

— По дружбе это я искренней. Прошу не отказываться... — вставил свое слово Ардальон Порфирьевич, хотя ни разу и не подумал о том, что кто-либо в этой квартире сможет отказаться от его гостинца.

— Сейчас... руки только вымою! — коротко бросила на ходу Ольга Самсоновна и вышла бесшумно на кухню.

— Чего отказываться? — неожиданно грубовато и быстро уронил Сухов, кладя руку на плечо своего гостя. — От два-

дцати копеек в пивнушке не отказался — чего ж тут! А все же ты, Ардальон Порфирьевич, про эти самые двадцать копеек не говори ей... жене! — шопотом и переходя вдруг на «ты» сказал он. — Про все остальное я рассказал ей, а про это твое одолжение — ве захотел что-то.. понимаешь?

— Я все понимаю, — дружелюбно и с особой серьезностью ответил Адамейко. — Прошу помнить: в интересе моем к вашей личности корысти у меня — никакой!

— Ладно! ладно!.. — дружески кивнул головой Сухов. — А все же занятный ты для меня человек выискался, и беседы твои, хоть и беспокойные, мне интересны..

— И это знаю. Если б не знал, даром времени не занимал бы! — исподлобья посмотрел на него и, посапывая носом, сказал Ардальон Порфирьевич.

Через четверть часа и хозяева и гость сидели за столом, причем Сухов принес для себя из кухни высокий и широкий обрубок дерева, который он поставил неподалеку от Адамейко; Галочка разместилась на сундучке.

Ольга Самсоновна достала откуда-то сахар, приготовила чай, которым и угощала теперь, в свою очередь, Ардальона Порфирьевича.

Он пил медленно, к рогалькам и сдобному хлебу почти не притрагиваясь, и ни разу не выказал своего внимания к тому, с какой — едва скрываемой — жадностью и Сухов и девочка уплетали их. И пока сидели за чаем, разговор был короток, отрывист и малозначащ, чему Ардальон Порфирьевич был даже очень рад, так как не знал теперь, о чем следует заговорить с Ольгой Самсоновной: только к ней одной вернулась вновь его мысль...

Но с такой же радостью он чувствовал теперь свое собственное спокойствие, которое — неожиданно для самого Адамейко — пришло к нему в течение этого получаса.

Оно было тем более неожиданно, что, направляясь к Сухову, Ардальон Порфирьевич испытывал, как мы уже сказали, весьма заметное чувство волнения, связанное с предстоящей встречей с Ольгой Самсоновной. Красота ее и сейчас волновала Ардальона Порфирьевича, но она не обескураживала его теперь, как это случилось с ним утром.

Наоборот, он вдруг стал уверенней в себе, жесты его стали медлительней и плавней, когда к чему-нибудь прирагивался, так же, как и слова, на некоторое время потерявшие свою обычную тягучую вертлявость.

Внутреннее возбуждение никак не противоречило теперь его внешнему спокойствию, потому что последнее чувство внушалось не столько обстоятельствами этой встречи с Ольгой Самсоновой, сколько той победой, которую одержал над самим собой Ардальон Порфирьевич: чувство растерянности и даже некоторой робости, испытанное им на улице, уступило место уверенности и настороженности. Внутренняя же взволнованность, объясняемая известными уже нам причинами, еще более требовала от Ардальона Порфирьевича внешнего спокойствия, которому он радовался теперь и хотел сохранить во время своего разговора с Суховыми.

Однако, было бы неверным сказать, что сдержанность и уверенность Ардальона Порфирьевича явились результатом его очередного самоборства, — была еще одна причина, значительно повлиявшая на состояние духа Адамейко: он вдруг увидел теперь Ольгу Самсонову такой, какой не рассчитывал увидеть еще час тому назад, хотя тогда же сделал все, что могло бы хоть на время вызвать к нему расположение изголодавшегося Сухова и его жены.

Красота ее лица и тела волновала Ардальона Порфирьевича, но едва скрываема жадность, с которой Ольга Самсонова ела, — как и муж и дочь, — вкусно пахнувшие рогальки, ела так поспешно, что даже забывала отвечать на вопросы Галки или гостя, — это открытое и почти животное проявление голода вдруг стало приятно Ардальону Порфирьевичу, и он невольно вспомнил радость и подобострастное послушание капризного шпица, которого час тому назад кормил у подъезда...

Может быть, так же, как и от шпица, он втайне ждал такого же или похожего чувства к себе со стороны обоих Суховых, — он сам в этом сейчас не разбирался; но неожиданная, хотя бы краткая, зависимость от него Ольги Самсоновны усилила теперь в нем чувство уверенности, — и он без внутренней робости, спокойно уже наблюдал за женщиной.

Он настолько верил в свое внешнее спокойствие, что не побоялся несколько раз в течение этого времени подумать о том, что взволновало его при первой встрече: как и тогда, Ардальон Порфирьевич наполнял теперь свое воображение ясно рисовавшимися ему эротическими сценами, в которых Ольга Самсоновна становилась податливой и улаждающей жертвой его собственных возбужденных желаний.

Минутами он переставал видеть ее всю, — как это было днем и в отношении жены, Елизаветы Григорьевны, — но каждый мускул Ольги Самсоновны, каждая часть ее лица и тела казались уже трепетными, влекущими, горячими, порой доводившими сознание Адамейко до иступленности и изнеможения, но все это он сумел скрыть, — как кошка когти свои вподушечки, — подличиной бесстрастия и настороженности.

Но, при всем том, он чувствовал, что сдержанность эта не сможет быть долгой, потому что доступность Ольги Самсоновны, дразнившая его воображение, стала для него тем, что сам он называл «близкой фантазией»: отказаться от влечения своего к жене Сухова Ардальон Порфирьевич уже не мог. Как, впрочем, не мог он уже отказаться и от той непонятной и назойливой мысли, которая еще больше вгнездилась в нем после случайной встречи с безработным Федором Суховым.

Что это так, лучше всего покажут частично описанные нами события 9 сентября, к которым мы еще вернемся.

## ГЛАВА X

— Спасибо, Ардальон Порфирьевич! — сказал Сухов, проглатывая последний кусок рогальки.

— Благодарю и я с дочкой за угощение... — улыбнулась вслед за ним раскрасневшаяся Ольга Самсоновна.

— Ни к чему! — спокойно качнул головой Адамейко. — Сказал я уже, что ничего, кроме дружеского чувства к семье вашей, не имею, а если за каждый пустяк благодарить будете, — значит, в дружбу мою не верите, и в этом самом пункте и может приключиться несправедливость. Поверьте, — даже обидно мне...

— Ишь, ведь, и сам в каждом закоулке нащупать хочет справедливость! — дружелюбно рассмеялся Сухов. — То проклял ее анафемой, то сам около ней обогреться хочет... Ловед! Не крепкий ты человек, Ардальон Порфирьевич. Но интересный он, — ей богу, Ольгушка! — связал он быстрым поворотом головы взгляды жены и Адамейко. — А ведь с чего у нас сегодня разговор-то начался?.. Вот, завертелось все вокруг одного слова, будто птицы какие... воронье будто около падали...

— Вот именно — падали! — повторил иронически Ардальон Порфирьевич и тоже усмехнулся.

— Стой, дорогой друг! Я все по порядку...

— Тише только, Федор: Павлика не растревожить бы...

— С Павлика-то и началось, жена...

И Сухов неторопливо и почти вполголоса передал ей беседу свою с Ардальоном Порфирьевичем.

— Не так разве? — спрашивал он часто у своего гостя.

— Так... так. Приятно даже, что так запомнили мысль мою в полном порядке. Какой же я после этого «путаный»?! — удовлетворенно прищуривал болотные глаза свои Ардальон Порфирьевич.

— Да и я... и сам путаный, оттого и встретились! — как-то особенно быстро и загадочно бросил в середину своего рассказа хозяин.

«И не уйти уже!» — также неожиданно подумал Адамейко, но вслух ничего не сказал.

— И убийство оправдываете? — тихо спросила Ольга Самсоновна, когда муж закончил свой рассказ.

Она протянула руку к электрической лампочке и зажгла ее, — вечерняя темнота, быстро надвигавшаяся в комнату, была отброшена за окно.

Голубые, широко открытые глаза, чуть мигая ресницами, смотрел пристально на Адамейко.

— Ну-ко-сь... повтори ей еще раз, друг-приятель! — услышал он возле себя знакомый уже, густой и чуть рокошущий басок.

— Чтб сказал, от того не отрекаюсь, — так же тихо ответил Ардальон Порфирьевич.

— Вот и не верь ему!

— Нет, ты погоди, Федор...

— Все подтвердил он, девчушка!.. Словно и на самом деле убил... А ты еще про меня давеча что говорила!? — внезапно вырвались из рокочущей пены слов горячие, обжигающие брызги, но Сухов тотчас же умолк.

Он искоса и виновато смотрел теперь на жену. Адамейко заметил это: «Вот этого и боится!» — внезапно пронеслось в уме.

— Убийство — что? — продолжал уже с некоторым азартом Ардальон Порфирьевич. — Обыкновенное дело и, так сказать, объяснимое событие по всем известной азбучке: социальное явление, заметьте, — вот что! Вот жизнь, вот ее тень, — а вот, как говорится, кусочек этой тени — и есть умерщвление человека!.. Убийство иначе... Так? А коли так, Ольга Самсоновна, — я и говорю, значит..

— Ну, ну?..

— Нет, простите, — я еще не сразу дойду до цели, так сказать. Я все по порядку, друзья... Я ведь все понимаю, заметьте! Некий ваш интерес и даже волнение мысли сам себе объясняю. Да иначе и не могло быть! — уверенно и серьезно продолжал Адамейко. — А у меня мысль все же — по порядку... Я вот и говорю: иного убийцу тут же расстрелять надо или сгноить на каторге, а другому — руку пожать или даже, как бывает, его именем ребенка своего назвать — вот что! Серьезно говорю... Так? Уж я правильно говорю. Первый-то убийца против живой, как говорится, жизни с топором идет, — потому казнить его, да и только! — А второй сучья сухие на живом дереве срезает... и расти ему помогает. Вот второго-то и оправдать могу. И даже помочь, может быть.

— Да, да, понимаю... — перебил его, воодушевившись, Сухов. — У нас-то, в типографии, помню, книжку одну интересную набирали... Замечательная книжка, скажу вам! Про революционеров наших: каждая пуля в губернатора — лучше тысячи прокламаций. Ей богу! Товарищ Каляев, например...

— Верно, — согласился Ардальон Порфирьевич. — Только Каляевы, заметьте, нам теперь уже ни к чему: памятники

им только — и чтить осталось. Я не про динамит каляевский говорю. Я не про Каляева, не про знаменитость, так сказать, — выкладывая каждое слово медленно и твердо, пытли-во всматривался Адамейко в Ольгу Самсоновну. — Я не про Каляева, а про Сухова думаю! — неожиданно закончил он.

— Как!? — вскрикнули в один голос Ольга Самсоновна и Сухов.

— В чем же это можете подозревать... что ли?

— Ни в чем, конечно, Ольга Самсоновна. Ни в чем, уверяю, определено. Да, я, собственно, и не о вашем муже и говорил даже, — улыбнулся и легонько засмеялся Адамейко. — Не так поняли.

— Как же иначе понимать?..

И Ольга Самсоновна посмотрела растерянно на мужа: Сухов был бледен и возбужден.

— Как... ты, Федор? А?..

— Я подожду: пускай сам он все выскажет...

— Правильно! — подхватил Ардалион Порфирьевич. — Я не о Федоре Семеновиче Сухове именно говорил... Я о Сухове — как для примера, значит.

— А-а .. — раздался чей-то облегченный вздох.

— Ну, да.. Вот так и есть только. Например, Сухов-убийца — разный может быть. Если, заметьте, удавится, — по обстоятельствам личным, как говорил недавно и сам Федор Семенович, — убийство это человеческое — глупо и напрасно вовсе.. Так как, по-моему, наложить на себя руки, да еще сделать это нужному гражданину, — то же убийство, но, к сожалению, без возможности наказать самого преступника. Так?

— Так, так, Ардалион Порфирьевич! — живо поддержала его Ольга Самсоновна.

— Она смерти боится, оттого и соглашается.. — угрюмо усмехнулся Сухов, покачивая спереди голову и расчесывая ногтем свою бесформенную бородку.

— Это не суть важно в данном случае, заметьте! — настаивательно продолжал Ардалион Порфирьевич. — Потом я так думаю: если Сухов малого ребенка убьет, — как — помните? — дочку свою на кладбище один рабочий зарезал, — так тут

ему пощады никакой не давать! Всенародно ему — нулю! Чтоб видели все и прокляли...

— Верно!.. — участливо отозвались оба слушателя, и Ольга Самсоновна вздрогнула даже при этом, вспомнив, очевидно, всем известный в столице случай жестокого убийства отцом своей малолетней дочери.

— Значит, в обоих случаях сходимся? — усмехнулся Ардальон Порфирьевич.

— Сходимся! — смотрели доверчиво голубые глаза.

— Вот видите! — уже любясь ими и чувствуя все увеличивающееся от того волнение, горячо сказал Ардальон Порфирьевич. — А почему так? Я говорю, поверьте, искренно. И о том, что, может, нам всем троим близко. Теперь дальше, Ольга Самсоновна... — обращаясь он уже к ней одной. — Так сказать, третий случай, самый важный для всего нашего разговора... тот самый, что вас так взволновал, конечно... Жизненный, заметьте, и возможный, потому что...

Но в этот вечер ему не пришлось закончить свою мысль: то, что в ту минуту произошло, оборвало неожиданно его речь и отвлекло от Ардальона Порфирьевича его собеседников.

Из соседней комнаты раздался хриплый, задыхающийся крик ребенка — беспомощный и зовущий. Оба — и Сухов и Ольга Самсоновна — бросились на этот зов.

Сидевшая все время на сундучке Галочка, оттолкнув тут же примостившегося сонного шпица, тоже вскочила и подбежала к дверям.

Все эти полчаса она с присущим детям любопытством прислушивалась к происходившему здесь разговору; очень многое было непонятно ее восьмилетнему уму, но некоторые слова и фразы вошли в ее сознание и в память остро и отчетливо: это произошло и потому, что несколько раз в течение разговора и самой Галочке становилось вдруг страшно и — страшно, казалось, было и сидевшей у стола матери, за которой она внимательно следила.

В течение минуты Галочка смотрела из уголка хмуро и неприязненно на нового знакомого их семьи, и девочка рисовала уже гостя таким, каким представлялся он ее воображению — причудливому и легкому всегда у детей, как облачко.

Если бы знал в тот момент Адамейко, как думает о нем маленькая Галочка, — вернее, как сочиняет она по-разному его образ, как присочиняет она целые фразы ко всему тому, что он говорил и что свежим рубцом оставалось в ее сознании и памяти, Ардальон Порфирьевич поспешил бы сказать или сделать тогда же что-нибудь особенно приятное не только для девочки, но и для ее родителей, — чтобы успокоить тем испуганную Галочку, способную, как и всякий ребенок в ее возрасте, быстро менять свои впечатления...

Галочка приоткрыла дверь, делая попытку прошмыгнуть в комнату, где суетились подле Павлика и Ольга Самсоновна и Сухов.

— Стой! — удержал ее за платье Ардальон Порфирьевич. — Нельзя... Братишка твой заразит... и тогда ты тоже... Тебе ведь жаль братишку, а?

— Я боюсь, дяденька...

Темные, кругленькие глаза еще больше потемнели от повисших на них слез, а личико как будто уменьшилось и втянулось в худенькую шею, и губы стали сухими и серыми, как тесьма.

— Не надо бояться, глупенькая... — хотел ласково ответить Ардальон Порфирьевич, но не успел, потому что дверь порывисто отдернули, и в комнату вбежала Ольга Самсоновна.

— Господи! Ребенок мой, Павлушка... умирает... задушит его...

Она схватила за руку Галочку, но тотчас же испуганно отпустила ее и крепко, судорожно сжала пальцы Ардальона Порфирьевича.

— Ну, что вы! — почти шопотом, дрожа, сказал он. — Все надо сделать... доктора надо... может, в больницу?..

Он не отпускал ее руки, отвечал ей таким же крепким пожатием, и все тело его сладостно замерло и онемело, и хотелось сдерживать свое дыхание — оттого, что вплотную касалось застывшей ноги мягкое и вздрагивающее колено Ольги Самсоновны...

— Мамонька... мамонька... — громко и жалобно вскрикнула девочка.

— На все б пошла... на все, на все, — искривилось лицо Ольги Самсоновны, и она со стоном бросилась опять к Галке. —

Не мучай хоть ты... На все б пошла, чтоб только остался он жить... Ногу б себе отрезала, сама согласна меньше жить... Павлик мой... ребенок мой... — плакала уже Ольга Самсоновна. — Все, что угодно, делать буду. Сиделкой бесплатной к каким угодно больным пойду!.. — наивно, почти по-детски, судорожно роняла она слова.

Она убежала опять к больному ребенку, и Ардальон Порфирьевич услышал теперь ее громкое и унылое причитание и глухой хриплый басок успокаивающего ее Сухова.

— Задыхается! Ой, задыхается!.. — кричала уже на всю квартиру Ольга Самсоновна. — Помогите моему ребенку... помогите!

Ардальон Порфирьевич в одну минуту принял решение.

— Сухов! — распахнул он быстро дверь. — Где тут близко у вас доктор... а? Я его сейчас притащу..

— Коммунальный не раньше завтрашнего утра придет... — угрюмо отозвался тот и с отчаянием махнул рукой.

— Да я не про коммунального спрашиваю! — вскрикнул Адамейко. — Я насчет вольного врача... за деньги. Пойдем... Притащим!

— А платить чем ему? Одним «спасибо» не будет доволен, я думаю!..

— Я заплачу. После... посчитаемся! — торопил Ардальон Порфирьевич. — Я пойду...

Он был возбужден. Он обращался к Сухову, но глаза его все время были устремлены на Ольгу Самсоновну, державшую на руках хрипевшего и метавшегося сына.

В эти несколько секунд Ардальон Порфирьевичу казалось, что он уже ближе к этой женщине, чем ее муж: с такой покорностью и благодарностью смотрели прекрасные, обнадеживающие глаза Ольги Самсоновны.

— Иди! — крикнула она, — иди... ты! — и он мысленно отобрал у Сухова ее «ты».

— Сейчас... сейчас, Ольга Самсоновна! — кивнул он головой. — Пойдем, Сухов!

Через минуту они оба почти бегом направлялись к ближайшей аптеке — узнать адрес живущего по соседству врача. За всю дорогу они почти не сказали друг другу ни одного слова, и каждый из них в это время думал о своем...

— Умрет Павлик!.. — раз только сказал Сухов, когда они проходили мимо тускло освещенного подвальчика, над которым висела вывеска: «Гробы», — и он, оглянувшись, еще раз посмотрел на вывеску, словно хотел ее лучше запомнить.

— Не умрет!.. — с необъяснимой для себя уверенностью ответил Ардальон Порфирьевич, но почему-то ясно представил себе в этот момент, как в насупившееся петербургское угро сам Сухов, в пиджаке с липайчатым бархатным воротом, выносит из квартиры маленький детский гроб, выкрашенный в розовую краску...

И ему самому стало неприятно и даже жутко.

— Ерунда! — почти с ожесточением выкрикнул он. — Мальчугашка обязательно останется жить...

Но веры в свои слова уже не было.

— Останется?.. — переспросил Сухов и громко крикнул, стараясь подавить свое волнение.

Адамейко ничего не ответил.

В аптеке дали адрес ближайшего — к квартире Сухова — врача.

Через полчаса он был уже у постели задыхавшегося ребенка.

А через час — Ардальон Порфирьевич возвращался к себе домой. Медленно, не замечая пути.

Он шел по Измайловскому проспекту. Было безлюдно и тихо; изредка обгонял трамвай, вперив в пустоту темного вечера резкие лучи своих разноцветных глаз. Но ни огней этих, ни быстро пронесившегося трамвайного грохота Ардальон Порфирьевич не замечал теперь.

Не замечал он во всю дорогу и того, как, сзади, шагах в пятнадцати-двадцати, так же медленно шел по его пятам державшийся все время в тени неизвестный человек.

Этот человек проводил Ардальона Порфирьевича до самых ворот его дома, прошел мимо них, но минуты через три, когда Адамейко был уже в своей квартире, снова вернулся к этому дому и, вынув из коробки папиросу, попросил огня у вышедшего на дежурство дворника.

Дома Ардальона Порфирьевича встретил только рыжий позевывавший кот: Елизавета Григорьевна, не раздеваясь, уснула уже на своей кровати.

На столе дожидался Ардальона Порфирьевича оставленный для него ужин, теплый еще чайник, чокнутый сверху маленькой подушкой, и рядом — маленькая, небрежно написанная жениной рукой записка: «Можно было бы не шляться. Деньги оставь на самоварном столике, завтра платить фининспектору!»

Адамейко усмехнулся и с жадностью принялся за еду.

Внизу, в квартире румяного кассира Жичкина, было шумно и весело: пели люди, дразнила гармонь.

В окно ударили первые капли ночного дождя. Он был неровен и слаб.

## ГЛАВА XI

Думается, что все то, что произошло первого сентября и в последующие дни того же месяца, — то есть встречи Ардальона Адамейко с Ольгой Самсоновной, — в значительной степени способствовало знаменательному событию 9 числа — убийству вдовы Пострунковой, и не только способствовало, но, быть может, и ускорило печальный конец Варвары Семеновны и, тем самым, того человека, чьим именем названа эта повесть.

Так, по крайней мере, думала впоследствии сама Ольга Самсоновна, вспоминая во время судебного разбирательства все обстоятельства этого дела.

Первого сентября она встретилась с Ардальоном Порфирьевичем в тот момент, когда меньше всего могла ожидать этой встречи.

Вечером, часов в семь, Ольга Самсоновна вышла из дома и направилась к центральной части города. После болезни ребенка — это была первая прогулка, которую Ольга Самсоновна совершала, что привыкла до сего времени делать часто, вызывая тем самым у Федора Сухова известные уже читателю подозрения.

И хотя Ольга Самсоновна каждый раз и говорила Сухову, что бывает она только у своей давнишней знакомой и закадычной приятельницы — Нasti Резвушиной, которую и сам он знает, — Сухов никак не мог отказаться от мучительных

предположений об истинной причине, побуждавшей жену уходить так часто из дома...

Инстинкт, часто заменяющий человеку глаза и ухо, — этот слепой, но всегда чуткий и настроженный поводырь, — на этот раз не обманывал Сухова.

Настя Резвушина жила на Лиговской улице, у Знаменской площади, и ходьба сюда отняла у Ольги Самсоновны почти целый час. Momentами, — попадая на широкие шумные улицы, — Ольга Самсоновна умышленно замедляла свой шаг, вслушиваясь и всматриваясь на ходу во все окружающее, словно видела это все впервые.

Вечер был на редкость теплый, сухой, ласковый — как сытый, слегка дремлющий котенок. Небо — серовато-синее, спокойное, ровное, как умело выглаженная ткань, и на ней зияющая лукообразная луна — желтый вырез в ткани, упавший на землю лоскутом неподвижно мягкого сиреневого света.

Вода в городских каналах и реках лежала тихим черным зеркалом, в глаза прохожего оно бросало снизу свою застывшую лунную улыбку, отброшенную далеко по воде, пучком во все стороны, как чернильные брызги из-под неожиданно споткнувшегося на бумаге пера.

Улицы были шумливы, густо наполнены широко разлившейся ртутью людей, трамваев, извозчиков, автомобилей, но все это, казалось, никуда не торопилось, как обычно, и походка каждого прохожего была медленной, даже ленивой, — словно слабо пробивающийся вылаканный солнцем ручеек, а речь голосистей и оживленной.

Город возбужденно и недоверчиво вбирал в себя сухую теплынь — аромат почти совсем уже истлевшего лета, как наркоман — случайно найденный им порошок наркотика.

Ольга Самсоновна шла, не спеша, по Невскому проспекту, в сторону вокзала. Дойдя до площади, она, повернув налево, пересекла ее и вышла к длинному бурому дому, смотревшему одновременно на три смежных улицы, а четвертую пропускавшему под свою арку, которой он, как толстой, гигантской рукой, схватил своего серого увальня-соседа, словно боясь, чтобы пятиэтажный детина этот не шагнул вдруг непочти-

тельно к памятнику императора. Цепкая хватка и настороженность бурого дома осталась еще от прошлого: строил этот дом для личных доходов престарелый царский министр...

В этом доме жила, занимая одну комнату, Настя Реззушина, белошвейка и домашняя портниха.

Поднявшись в последний этаж и пройдя длинный и узкий коридор, почти совсем не освещенный сейчас, Ольга Самсоновна остановилась у предпоследней двери и тихо постучала в нее. Никто не отвечал. Она вторично постучала — громче и продолжительней и, выждав несколько секунд, хотела было уходить.

— Реззушиной дома нету-с. С заказчиком ушла... — неожиданно услышала она знакомый сиповатый голос.

Ольга Самсоновна повернула голову в сторону говорившего.

— А-а. Здравствуйте, Кирилл Матвеевич..

— Честь имею, честь имею, гражданочка вы наша приятная... Давненько что-то голоса вашего не слышал. Чего так? У полуоткрытой двери соседней комнаты, держась за косяк, стоял высокий сутулый человек.

— Не говорила, — скоро придет? — спросила Ольга Самсоновна.

— Часик, а может, и того меньше теперь осталось. Желаете в моей комнате подождать, — сделайте одолжение, всячески обрадуйте! Сына моего дома нет: я в одиночестве и скучаю...

Он шагнул, низко кланяясь, в тускло освещенный коридор.

— А уйдете, — Настасья Ивановна меня-с ругать будет: почему, мой, старый пес, не задержал!.. Да-да, так и будет...

— Я приду через час... — не приняла приглашения Ольга Самсоновна и молчаливо направилась к выходу.

— Ваша воля! Не имею сил настаивать.. — пожал покорно сутулыми плечами тот, кого она назвала Кириллом Матвеевичем.

Минуту он глядел вслед удаляющейся Ольге Самсоновне, слегка кашлянул и вошел к себе в комнату, расположенную рядом с комнатой Реззушиной.

Выйдя на улицу, Ольга Самсоновна некоторое время оставалась у крыльца, о чем-то раздумывая. Потом, вынув из

кармана жакетки папиросу и закурив ее, она медленно направилась обратно, в сторону Невского, и вышла к нему у часовенки Знаменской церкви; отсюда, ускорив шаг, она пошла по проспекту.

Было, как и всегда: прохожие окидывали любопытным, а иногда и цепляющимся, как репейник, взглядом округлую и слегка раскачивающуюся фигуру медленно проходящей женщины, встречные мужчины, не скрывая своих чувств, пристально заглядывали в красивое, — казалось, напоказ обнажившее свою притягивающую красоту, — лицо и невзначай старались задеть локтем или бедром, — и Ольга Самсоновна не сторонилась прохожих, не отводила в сторону своих голубых, возбужденно поблескивающих глаз.

Как всегда, ей было приятно чувствовать на себе мимолетные укусы чьих-то мгновенно удлиняющихся восхищенных взглядов, была приятна собственная красота, не утеренная за годы замужества, волновало и было приятно то чувство легкости и свободы, испытываемое всегда, когда, покинув семью и неуютные стены на Обводном, выходила на улицу, чтоб затеряться в толпе.

Толпа, — запруженная людьми разноголосая улица, — походила всегда на далеко растянутую резину: тоненьким и длинным резиновым волокном растягивалось тогда сознание Ольги Самсоновны, плотно сцепленные меж собой мысли постепенно, но все больше разобшались, удалялись одна от другой все дальше и, лишенные связи, мельчали и вовсе пропадали на долгое время.

Оттого в первый момент наступали легкость и свобода; но, вместе с тем, не приходило и бездумье: словно кто-то отпустил один конец резины, она мгновенно и судорожно сбежалась, — и вновь вплотную, ударом, подскочили друг к другу мысли — порой неожиданные, новые, подсказанные улицей, толпой, порой — прежние, знакомые, отыскавшие в сознании свое место.

Так и в этот вечер было с Ольгой Самсоновной.

Шла она по проспекту, и мысли сначала, как пыль, садились на каждый, случайно попадавшийся на глаза предмет — бесстрастно, спокойно. Некоторое время почти не замечала

даже давно разгаданных, мгновенно возбужденных длинных взглядов прохожих; потом — они привлекли к себе внимание, но как-либо особенно не изволновали, потому что привыкла к ним и принимала, как должное. Но через секунды вспомнила о том, к чему все это время неоднократно мысленно возвращалась, чем сама себя не раз прельщала и страшила. И, вспомнив, подумала тотчас же о том, что муж, Сухов, тоже знает уже эту ее мысль, что разгадана она, — и, может быть, не только им одним, но и совсем посторонним человеком, — что оттого, может быть, приблизился уже тот час, когда нельзя будет только думать об этом, прельщать и страшить себя, когда нужно будет дать самой себе ответ...

«Переступишь или не переступишь?» — ясно слышала уже слова Сухова, — и знала Ольга Самсоновна, что ответ теперь — близок. Но какой?!

Вот дошла уже до Фонтанки, не следя за своими шагами, повернула обратно, а мысль все продолжала повторять старые слова: «Переступишь или не переступишь?..»

Потом — неожиданно, необъяснимо почему — мысль забыла себя самое, мысль соскользнула куда-то, и на смену ей пришла другая: опять легкая, полая, как пылинка.

Всегда бывает в таких случаях: когда идешь, например, в шкафу, среди книг, одну только, в данный момент необходимую, — невольно взор твой останавливается на другой, сейчас и ненужной, и так же невольно подчас, забыв о первой, раскрываешь попавшуюся на глаза, чтобы неожиданно жадно и долго ее читать.

Или так случается: вывалишь на пол содержимое сундука, хочешь найти рассыпавшиеся повсюду зернышки ожерелья (только они тебе и нужны), — и, откладывая в сторону остальные предметы, вдруг удержишь в руках давно непопадавшую старую фотографическую карточку или забытую шкатулку предка, или поломанную детскую игрушку... И захочешь обязательно вспомнить, — а память подскажет: что карточка — когда-то любимой, что предок умудрился, не бодея ни разу, прожить полный век, что детская игрушка — все, что осталось для глаза от рано ушедшего брата... И надолго забудешь, зачем выволок все из сундука.

Нечто подобное случилось сейчас и с Ольгой Самсоновной.

От случайно попавшейся на глаза чьей-то фамилии, глядевшей с театральной афиши и очень схожей с ее собственной — девичьей, — мысли Ольги Самсоновны свалились неожиданно, как в овраг, в далеко отошедшие годы, когда была почти еще ребенком: и так непонятно для нее самой было то, что вспомнился почему-то сейчас большой, белого дерева, карандаш, торчавший всегда за ухом отца — старшего приказчика бакалейной лавки, его плотная и всегда розовая шея; вспомнилась тут же большая швейная машина, за которой по вечерам работала мать; промелькнули в памяти густая пыльная крапива в палисаднике, укусы весенних комаров, какой-то красивый ученик из городского училища, вкусное яблоко и...

— Добрый вечер, Ольга Самсоновна!

От неожиданности вздрогнула и остановилась: перед ней стоял Ардальон Порфирьевич.

— Фу, ты! — не то досадливо, не то растерянно уронила ему в ответ.

— Неужто напугал? — мелкими бусинками покатились тенорковый смех Адамейко. — Вот и поймал... Вот и постиг, а?

— Здравствуйте... Очень рада встретить вас... Только... куда это вы? В ту или в эту сторону?

Они стояли на углу Литейного, набухшем, — как мокрый уаел, — от притока человеческих волн: шедшие позади напирали, теснили, — и Ольге Самсоновне нужно было торопиться перейти на противоположный угол.

— Ну, куда?..

— В вашу сторону. Непременно в вашу!.. — продолжал улыбаться Ардальон Порфирьевич и притронулся рукой к ее локтю.

— Да ну вас, — сразу и не скажет! — пожала плечами Ольга Самсоновна. — Пойдемте, что ли...

Она перед самым трамваем поребежала улицу и, остановившись на углу, ждала, куда Адамейко ее догонит. Он, выждав, пока пройдет трамвай, пересек рельсы.

— Пугливый вы! — иронически улыбался навстречу чуть вдавленный, насмешливо собранный рот. — Ну, так куда же вы шли, Ардальон Порфирьевич?

— Сказал вам: в вашу сторону теперь иду, потому что — настит! Вы ведь к подруге, конечно? К портнихе Резвушиной, так?.. Взяли мы с вами направление правильное...

Ольга Самсоновна удивленно посмотрела на него и в этот момент не обратила даже внимания на то, что спутник ее уверенно и твердо взял ее под руку.

— Никак не поймете, откуда сейчас такие подробности знаю? — опять рассыпались мелкие бусинки смеха, и Адамейко слегка прижал к себе мягкое плечо женщины. — Так ведь?

— Ну, да...

— Очень просто, заметьте... — уже серьезно и чуть-чуть глуховато, словно сзади кто-то хотел подслушать их разговор, продолжал Ардальон Порфирьевич. — Просто, как щепка, можно сказать... Зашел я к вам на квартиру, а вас и не застал. И Федора Семеновича не было, — одни дети только. Посидел я с ними, маленько покалякали, немножко угостил я их...

— Опять? чем же это?.. — с благодарностью посмотрели на него близко придвинутые влажные глаза.

— А так, знаете... пущычком, собственно. Но сам, признаюсь вам, моральную приятность при этом почувствовал: к Пострунковой (ну, да, к той самой, про которую вам рассказывал!..) — к вдове этой, к дикому мясу этому, по делам зашел и стибрил, как говорится, два пирожочка... Не обеднеет: она их каждую неделю для своих «Николаев Матвеевичей» и собачонки приготавливает... И вкусно, заметьте, делает.

— Ладно. А как же все-таки насчет Насти Резвушиной?

— А-а... — протянул Ардальон Порфирьевич, словно вспомнил только теперь, каким вопросом начался их разговор. — Ну вот, значит... Покалякал я с ребяташками про разное, а тут и муж ваш в квартиру вернулся. «Где мама?» — спрашивает. — «К тете Насте пошла» — Галочка ваша отвечает. Вы ведь ее так научили, а?

— Не научила, а сказала! — раздраженно ответила Ольга Самсоновна. — Причем тут «научила?!» Тоже еще скажете!..

— Вы не волнуйтесь, — мягко перебил ее Адамейко. — Я ведь почему так спросил, заметьте. — Это слово от мужа вашего слышал. «Опять к Насте?» — спросил он. — «Опять...» — Галочка

ваша отвечает. — «Видали? Научила, как отвечать...» — говорит мне уже Федор Семенович. А для чего научать-то Галочку? Смышленная она девочка, память у ней хорошая, глаза толковые — многое понимают, заметьте! Толковостью своей и меня самого на некоторые разговоры вызвала...

— На какие это такие?

— Вот мы с мужем вашим минут десять посидели, — продолжал Ардальон Порфирьевич, как будто не расслышав обращенного к нему вопроса. — Потолковали... Осторожно это я выпросил адрес вашей приятельницы и фамилию — и распродался с Федором Семеновичем...

— А для чего — «осторожно»? — усмехнулась Ольга Самсоновна.

— Очень просто, заметьте: ревнив! К тому же, мое пребывание у вас стало частым, и разговоры близкие и дружеские... Не порицаю его, мужа вашего. Сам бы, может, ревновал вас, кабы в его формальном положении был! А тут еще случай с сынишкой вашим, и новое близкое звание для меня из ваших уст: «крестный»...

Сообщенный здесь разговор требует некоторых пояснений, и краткое отступление наше от последовательного повествования событий, приведших Ардальона Адамейко на скамью подсудимых, будет уместным для того, чтобы полнее рассказать о тревожном случае с заболевшим ребенком Сухова, о чем, второпях, мы забыли сообщить читателю в конце предыдущей главы, а также и для того, чтобы понятнее стали создавшиеся за это время взаимоотношения между Адамейко и Ольгой Самсоновной, несколько новый тон их собеседования, на что, может быть, читатель уже и обратил внимание, заинтересовавшись их встречей на Невском проспекте...

Нужно сказать, что все страхи Суховых и вполне искренняя тревога Ардальона Порфирьевича за судьбу маленького Павлика оказались, к счастью, напрасными: приглашенный врач легко определил ангину, заставил вдыхать теплый пар, прописал необходимое в таких случаях лекарство, — и ребенок остался жить, а через три дня и совсем был здоров.

Но случай этот сильно способствовал тому, что Ардальон Порфирьевич за несколько дней знакомства с семьей Сухова

сблизился с ней, стал в квартире на Обводном почти завсегда-  
таем и — часто — помощником во многих делах для своих  
новых друзей...

Это последнее обстоятельство не могло не сказаться и на  
внешних взаимоотношениях, приобретших вскоре характер  
некоторой непринужденности, а иногда даже — фамильярности,  
что, впрочем, меньше всего было присуще в данном случае  
Ардальону Порфирьевичу.

Ольга Самсоновна же, — к чрезвычайному удивлению, но,  
в то же время, и удовольствию Ардальона Порфирьевича, —  
часто склонна была выказывать эту фамильярность, и тогда  
невинные голубые донья-глаза, — как всегда, пронизанные  
долгим лучом прозрачно-чистого света, — не казались уже  
Ардальону Порфирьевичу загадочными, а сама Ольга Самсо-  
новна — недоступной и недосыгаемой, как с горечью подумал  
он при первой встрече.

Глаза притягивали к себе: сгорали в голубом огне их —  
встречные, — но глаза жили своей собственной, самостоя-  
тельной жизнью — чарующей, но обманной, как понял теперь  
Ардальон Порфирьевич: они обманывали, порождая мысль  
о внутреннем сиянии чуткой и вдумчивой человеческой  
души.

Но то, что понял это Ардальон Порфирьевич, не печа-  
лило его теперь: тем легче были встречи, и доступней каза-  
лась эта женщина!

Он радовался всегда непринужденности этой, радовался  
так быстро установившейся дружеской близости и рисковал  
уже все чаще и чаще говорить с Ольгой Самсоновной о том,  
что также близко было к целиком захватившим его желаниям.

А когда оставался наедине со своими мыслями, прони-  
чески и самодовольно думал: «Ну, что, Медальон, — не ожидал  
такого, а? Умный казак всегда в атаманы выбьется»...

Рассуждая же насчет дружбы, Адамейко однажды сказал  
присутствующим:

— Дружба, заметьте, — что пузо человекье — вот что! На-  
полни его, как следует, — оно и всякие стеснительные кушаки  
заставит снять и само себе, по законам естественности,  
может все дозволить...

Однако, вернемся теперь к Знаменской площади, куда вышли, беседуя, Ольга Самсоновна и ее спутник.

— А как отрекомендуете меня? — спросил Адамейко, когда они стояли уже у подъезда широкоплечего бурого дома.

— Скажу — «новый кум» мой! — рассмеялась Ольга Самсоновна, открывая скрипучую парадную дверь и быстро вбегая по первым ступенькам лестницы.

— Смотрите, — вам лучше знать! — ухмыльнулся Ардальон Порфирьевич, догоняя ее.

— Доходный домик: коридорная система... комнаты, наверное, в спичечную коробку! — делился он своими наблюдениями, покада они проходили длинный коридор, направляясь к Резвушиной. — А где тесно, там, заметьте, горюч и на всякое способен человеческий материал...

Они подошли к разыскиваемой двери. Из комнаты доносился мягкий тупой звук чых-то быстрых и коротких шагов.

Ольга Самсоновна чуть приоткрыла узенькую дверь:

— Настя, я не одна сегодня, — можно к тебе?

— Воспрещен вход только налетчикам и наводчикам, а еще — разным красавцам, потому каждый из них может выкрасть мое сердце. .

Голос звучал бодро и звонко, а слова вплетались друг в друга скороговоркой и округло, как у проворной вязальщицы — петли кружева.

— Значит, вам можно входить! — громко рассмеялась Ольга Самсоновна, легонько хлопнув по плечу своего невзрачного спутника. — Под Настюшин приказ не подходите...

Ардальон Порфирьевич хотел как-то возразить, но не успел: сама хозяйка, выйдя навстречу, широко открыла перед ними дверь, — и он очутился уже в комнате.

А через пять минут и хозяйка и гости живо беседовали, и Ардальон Порфирьевич почти не чувствовал неловкости от того, что сидел у совершенно незнакомой женщины, никогда не знавшей раньше о его существовании.

Комната Резвушиной, как он и предполагал, была маленькой, квадратной, и воздух в ней стоял несколько тяжелый и по-особенному сухой. Сухости этой и специфическому запаху немало способствовала, вероятно, портняжья профессия

Резвушиной, сказывавшаяся здесь во всем: черный манекен был обвешан несколькими кофтами и жакетами; на распиралках, по стенам, висели аккуратно выправленные блузки разного цвета; на спинке дивана, на котором сидел Ардальон Порфирьевич, лежала завернутая в бумагу какая-то материя, а у противоположной стены стояла ножная швейная машина, и на ней — большие и маленькие ножницы, катушки ниток и жестяная коробочка с иголками.

Комната казалась меньше еще и потому, что один край ее обхватила трехстворчатая, из пестрой китайской материи, высокая ширма, за которой помещалась маленькая, почти детская кровать в белых занавесочках, и над ней портрет какого-то мужчины в нерусской военной форме и с черными густыми усами; они были неестественно длинные, концы их выходили далеко за очертания полного и округлого лица, — усы были прямые, одной ровной чертой, словно положил кто-то на губу твердый и длинный отпилоч черной деревянной рамы.

Да и сама Резвушина была, если бы ее вывести на просторное место, — совсем миниатюрной и потому несколько забавной: маленькая, кругленькая, черноглазая и шустрал, как блоха, со смешливой всегда паутинкой удивления и экспансивности между подвижными бровями и в уголках пухленького рта, — она, и в самом деле, всей своей внешностью, как нельзя лучше, оправдывала свою фамилию, оставленную ей убитым на гражданской войне мужем (портрет усатого мужчины, как узнал впоследствии Адамейко, не принадлежал, однако, покойному Резвушину...)

— Чаем угощу, повидло из слив есть, масло, халы почти кило — семейный вечерок у меня, ей богу! Как же не угостить мне, Оля, твоего «нового кума»... ха-ха-ха! — весело разбрасывала она спотыкающиеся друг о друга кругленькие слова, накрывая на столик, разжигая возле двери примус, доставая из банки повидло, не забывая в то же время попудриться перед зеркалом, — быстрыми и легкими движениями своими наполнив всю комнату.

— Веселая Настюша, — ну, как? — улыбаясь, спрашивала у Адамейко сидевшая рядом с ним Ольга Самсоновна. — Мертвого — и того, кажется, чихнуть заставит!

Ардальон Порфирьевич кивком головы, долгой и добродушной ухмылкой выразил свою симпатию к жизнерадостной хозяйке.

— Это вы верно говорите, Ольга Самсоновна, — сказал он, показывая рукой на черный остов манекена. — Вот мертвая фигура, так сказать, подобие человеческое вроде... А вот Настасья Ивановна сжалилась — приделала его и обласкала, замастыла... В наряды укутали его, мрачность прикрыли...

— А как же! Пускай и болваночка моя деревянная думает, что в городе Ленинграде живет!.. — запрыгали к дивану юркие словечки Резвушиной. — Обязательно в жизни доброта нужна... и любовь! Обожаю любовь!.. Ольга, накопи для Ардальона Порфирьевича рафинада... тут в шкафике... Нет, мою немую болваночку никто не обидит...

Она говорила о манекене, как о предмете женского рода, но это не удивляло Ардальона Порфирьевича: к усеченной деревянной шее манекена был прикреплен большой пестрый рисунок, изображающий литографски голову красивой кокетливой женщины, с чайной розой в прическе, — рисунок, какой иногда можно увидеть, как рекламу, в витрине заухудалой парикмахерской.

— Моя болваночка имя даже свое имеет — а как же иначе! Имя не простое — парижское и даже вполне свободно — салонное имя: мадмазель Фифи! — поясняла словоохотливая Резвушина. — Как же такому-то предмету — и без имени? И лицо я для моей болваночки купила... ничего не скажете: красивое, нарядное лицо! И роза в волосах — богатая... А как же иначе? — с комичной серьезностью тараторила Настенька. — Придет заказчица, — ей и приятно жакетик свой или пальто новенькое не на чурбане увидеть, а при полной миловидной декорации! Уж обязательно надо каждому человеку — даже скупой дамочке-напманше! — приятное делать. Если б была я самым главным комиссаром — вроде как Буденный — я б первым делом приказ для всех граждан подписала: обхождение приятное, комплименты друг другу — культурные, разговор чтоб — ласковый и любовный, — вот что! И обязательно в каждой щелочке на земле должна любовь быть... Обожаю любовь.

В Словоохотливость этой кругленькой шустрой женщины, свидетельствовавшей по делу Ардальона Адамейко и, по существу, мало чем способствовавшей правильному ходу судебного следствия, не раз вызывала у публики и у состава суда невольную и громкую улыбку, не мог ее сдержать и подсудимый Адамейко, когда Настенька Реззушина заговорила о том, как поняла сна сразу, что «Ардальон Порфирьевич уж обязательно влюблен был до самой могучей страсти в Оленьку, но что у ней была определенная слабость на страсть и вполне ясная нерешимость..»

Не усмехался в судебном зале только один человек: было хмуро, как роща ночью, опущенное вниз лицо, влажны набухшие глаза, к которым прикасался иногда розовый батиственный платочек с выжженной в нем дырой...

— Свидетельница Реззушина! — спрашивал ее прокурор: — каким образом Адамейко и Сухова встречались у вас в квартире и оставались там наедине?

— А очень просто все это выходило, поверьте! С первого разу, как пришла она, Оля, и представила мне Ардальона Порфирьевича (простите, товарищи судьи, что убийцу по имени-отчеству величаю!..), как представила она мне это: «Кум, говорит, мой новый», — так и смекнула я в ту же секундочку: «любовь, думаю, уж обязательно закрутила! Что он обожает ее, — так это наверно уже понятно: красивое у Оли лицо и для любви, как сами видите... Только чем, думаю, таким особенным сучок этот рыженький чувства у ней вызвал? вот Адамейко-то самый?..

— Короче! — оборвал ее председатель.

— Ну, вот вам и короче! Как после того приходил он с ней, — я минут десять посижу с ними, поговорю, а потом предлог найду себе какой-нибудь и оставлю их на полчаса или больше: каждому человеку приятное надо сделать. Что уж они там делали — затрудняюсь вполне вам сказать... Но только, как возвращалась я, — вид у Ардальона Порфирьевича всегда серьезный был и малохоленный, как говорится...

Действительно, все происходило, как рассказывала Реззушина.

Но в вечер первого сентября она никуда не уходила — так, чтобы эти гости оставались одни, и предположения ее о возможном существовании интимных отношений между Ольгой Самсоновной и Адамейкой были скорее результатом ее чисто женской прозорливости, чем наблюдательности, потому что в этот вечер Ардальон Порфирьевич ничем почти не выдал своих истинных чувств к жене Сухова.

Он не мог этого сделать уже и потому, что в этот вечер ему пришлось встретиться с человеком, разговор с которым отвлек мысли Ардальона Порфирьевича и от Ольги Самсоновны и от той цели, с какой он сегодня старался найти эту женщину.

Знакомство читателя с этим человеком тем необходимей, что он, человек этот, — сам не подозревая значения некоторых своих слов, — может, однако, объяснить многое, что оставалось до сего времени, весьма вероятно, непонятным для читателя и интригующим.

Человек этот был — Кирилл Матвеевич Жигadlo, ближайший сосед Настеньки. Он вошел в комнату в тот момент, когда и гости и хозяйка только что приступили к трапезе. Вошел, не постучав в дверь, — тихо, неслышно, неожиданно приблизив сухой и длинный остов своего тела к маленькому столу, за которым все сидели.

— Вот и я! — сказал он сипловатым, как будто застрявшим в узком горле, надтреснутым голосом и посмотрел сверху на незнакомое ему лицо Ардальона Порфирьевича.

## ГЛАВА XII

Даже бойкая Настенька не успела ответить на его странное приветствие, — вошедший быстро протянул руку Ардальону Порфирьевичу и поспешно отрекомендовался:

— Жигadlo, Кирилл Матвеевич. Здешний жилец, непризнанный инвалид труда и, между прочим, — ближайший друг Настеньки.

Сказал — и сразу же сел на свободный стул, не дожидаясь приглашения.

— Жигadlo Старший, — повторил он опять. — А ваша как, дорогой гражданин?

— Моя фамилия — Адамейко... — перешитительно улыбнулся тот, и рука, несшая ко рту кусочек сдобной халы, так же нерешительно опустилась к столу.

— А имя как? — смотрел на него мокрым, водянистым глазом Жигadlo.

Ардальон Порфирьевич назвал свое имя.

— Стойте! — вскрикнула, обращаясь к нему, Реззушина. — Разве так культурный человек знакомится, а?.. Сунул, можно сказать, оглоблю свою незнакомому человеку, фамилию свою малозначащую навязал, а потом еще вроде допроса устраивает... К тому же, Ардальон Порфирьевич, прошу помнить, что нахально почти... соврал этот дяденька: никогда он не был мне ближайшим другом... Воли моей на то не спрашивал! А что знаю я его хорошо, — это правда.

— Что ты, Настенька, совсем осрамила сгоряча Кирилла Матвеевича!.. — укоризненно засмеялась Ольга Самсоновна и с нарочитым дружелюбием посмотрела на него.

— Никакого сраму нет-с, а одно только непонимание. Коротко объясню вам, так как вижу, что изволили прийти сюда-с в первый раз, — обратился Жигadlo к вглядывавшемуся в него с любопытством Ардальону Порфирьевичу. — Другом себя Настеньки твердо считаю, и никакого мне-с на то ее соизволения не требуется, ибо, полагаю, запретить быть другом — это все равно, что на земле тень свою вырезывать. Глупо и невероятно! Как скажете? А что б л и ж а й ш и й я друг, — так понимать можете без интимных, так сказать, подозрений: комнаты наши рядышком-с, парные комнаты-с, как две ноздри — что одна обоняет-с, то и другой не запрещено.

— Краснобай старый! — беззлобно уже, горячась и дружески-покровительственно косясь на него, воскликнула Настенька. — На всякий разговор мастак. Так и загрызет нового человека своими разговорами...

— А что говорит Настенька, будто хорошо меня знает, — так тут тоже ошибка. Насчет каждого человека можно только догадываться, а не знать. Как скажете? А раз догадываться, значит.. значит, вот — все и будет только казаться! Не так? — продолжал Жигadlo, словно не слыша последней реплики Настеньки.

— Так!—кивнул Ардальон Порфирьевич, продолжая с любопытством наблюдать своего собеседника:

— То-то-же!—как-тоназидательной самодовольно усмехнулся тот и перевел глаза на крупный сгусток повидла на тарелке, увесистым бугром лежавший в маленькой ложечке, отчего ручка ее высоко поднялась над тарелкой. — Настюша... — ласково и заискивающе сказал Кирилл Матвеевич.— Разрешите в этот-с вечер присоединиться: на облизку— сладости, на прожевку— ситничка, глоточек жидкости— и мне довольно!

— Я не отказываю...

— Вот я налью вам!— взялась за стакан чуть раскрасневшаяся после чая Ольга Самсоновна.

— Эх, старый я пес... неприконченый пес... — вздыхал, делая жалостливые ужимки, Жигадло. — А ведь, если начинать бы мне теперь сначала жизнь, смолоду, значит, — у, какой бы из меня толк вышел!

Он положил к себе в рот крупный кусок мягкой вкусной халы— и на минуту замолчал. Потом он встал, подошел к подоконнику и положил там на какую-то жестяную крышечку остаток своей неприятно-дымившей цыгарки, которую он до того держал все время в руке. И снова вернулся на свое место.

Когда он проходил по комнате, — так же неслышно и мягко, как и вошел сюда, — казалось, что кто-то издалека, оставаясь незамеченным, передвигает здесь длинный, слегка надломленный вверху, крестообразный шест: так костлява и узка была фигура Кирилла Матвеевича, и так легка была его походка.

Лицо у него тоже было узкое, но короткое, и если бы не пепельно-седая круглая бородка, слившаяся с такими же — и тоже плохо расчесанными — усами, — лицо казалось бы совсем игрушечным, несообразно малым для человека такого роста. Седые же лишай бороды были и на щеках, два-три таких же волоса торчали из чуть приподнятых кверху ноздрей, — не слившись, однако, с волосом усов, — щеки были дряблые, синеватые, как и округлый кончик носа, а глаза под сморщенной скорлупой век — мутноватые, старчески-водянистые, и походили они на две хлюпких лужицы. Правда, в лужицах

этих появлялся блеск упавшего в них осколка — живой и хитрой улыбки, остренького, ежистого смешка, но это каждый раз продолжалось недолго, и глаза Жигadlo не меняли и тогда своего цвета.

— Далеко изволите прожить? — обратился он вновь к Ардальону Порфирьевичу. — Полагаю, в том же районе, где и наша раскрасавица Ольга Самсоновна?.. так... так... Не ошибся. Нюх, знаете ли, замечательный: способность эту самую невзначай, так сказать, по наследству я передал. А вот и посмотрите, что получилось!.. Настюшенька! За здоровье ваше и ваших заказчиц прогложу сейчас вот это превкусенькое-с повидлице... Ах, не ожидал... буквально не ожидал такого семейственного и душевного времяпрепровождения!..

Адальон Порфирьевич не понимал, о какой «наследственности» идет речь и кому, собственно, она передана стариком Жигadlo: Кирилл Матвеевич быстро менял тему разговора и говорил так, словно все присутствующие знали уже, о чем и о ком именно он в данный момент думает.

Но, скорей всего, эти скачки мысли Кирилла Матвеевича происходили сейчас оттого, что и сам он не выбрал еще для себя темы разговора, так как усиленно занят был сейчас другим — удовлетворением своего отнюдь не старческого аппетита... Ел он много и быстро, а разговаривал в то же время, очевидно, только для того, чтобы меньше заметно было присутствующим его пристрастие к еде. Старик был с хитрецей!

Так и понял его, после минутного удивления, Ардальон Порфирьевич, но верткие и скользкие слова Жигadlo, плутоватая и мокрая усмешечка его хлюпких мутноватых глаз уже заинтересовали Ардальона Порфирьевича.

«Гусь! — подумал он, внутренне усмехнувшись. — И забавный порядочно...».

— Люблю Настюшу, а она любовью моей брезгает! — перебежали от одного к другому слезящиеся плутоватые глаза. — И сам понимаю... хэ-хэ-хэ... Сам чувствую: устарел, подгнил ты, друг любезный, Кирилл Матвеевич!.. Не претендую-с... А ведь было время... Наливное-с яблоко — вот какие-с дни были!.. Ароматные дни... да-а! Сок горячий!..

— Вся беда-то в том и лежит, что и по сию минуту претендуете. . На каждую бабу в мыслях своих темных претендуете!

— Умница... умница вы, дорогая наша Настенька... Но доказательства... доказательства где, хэ-хэ-хэ?.. Где доказательства?—как говорит всегда сынок мой старшенький, Дмитрий Кириллович.. а? Не изволили слышать, Ардальон Порфирьевич, про сынка моего старшего?

— Помолчали бы уж лучше насчет доказательств? Или хотите, чтобы все грязные истории про вас рассказала?—искренно волновалась Настенька. — Ведь позор один для ваших лет...

Ее прервал стук в дверь.

— Гражданка Реззушина. Пожалуйста срочно к коменданту и несите квартплату.

— Приду!.. Сейчас приду. Подождите меня, Оля, я скоро...

Накинув на плечи платок и захватив с собой кожаную сумочку, она выпорхнула в коридор.

Ольга Самсоновна пересела на ее место и шутливо объявила себя хозяйкой этой комнаты. Адамейко придвинулся к ней так, что колени его касались ее теплых, волнующих ног. Ольга Самсоновна заметила это, но только коротко, иронически усмехнулась — и ног своих не отставила.

— Про сына вашего ничего не слышал, — подхватил теперь Адамейко нить начатого разговора. — Вот слежу за всем по газетам... а вот не помню! — почему-то прибавил он, пристально посмотрев на Жигадло.

— Это весьма возможно-с... очень даже вероятно. Но он, сын мой—Дмитрий Кириллович, существует. Тут вот, в Ленинграде, проживает — и человек ответственный. Да-с! Гордость для отца, умница! И образованный — не хуже адмиральских или профессорских дегей... А что в газетах про него не пишут, — так уж такое у него занятие, служба такая. И замечу вам — несправедливо, что не пишут! про других вот пишут, а про Митю моего, действительно, — ни гу-гу... А он-то, Митя, часто самой главной пружиной и является во всем деле! Ну, вот, если про младшего, Сережку, не печатают, — так это и не жаль: в пешках ходит, хоть и в част-

ных... И без настоящего образования, конечно. Вот с Сережкой и живем тут вместе! — махнул он рукой на стену, за которой помещалась его комната. — Ольга Самсоновна! Прошу вас, красавица, — еще стаканчик!

— Кто же сын ваш? Дмитрий Кириллович — кто?.. — не без легкого раздражения спросил Адамейко: ему неприятно вдруг стало, что старик, — как показалось, — нарочно тянет и запутывает разговор, словно ужом протаскивает его, и что заговорит он понятней только тогда, вероятно, когда вдоволь насытится. «Ну, и гусь прожорливый!» — снова подумал о нем Ардальон Порфирьевич.

Но была еще одна причина, вызвавшая у него некоторую неприязнь к старику Жигadlo: это то, что он бесцеремонно, почти фамильярно держал себя с Ольгой Самсоновной и, как заметил Адамейко, неоднократно заглядывал сбоку темнокрившимися глазами на вырез ее блузки, отстававшей во время движения рук и приоткрывавшей тогда розовое тело Ольги Самсоновны...

— Сын мой старший, говорю, — своего рода пружина-с в иных крупных... таинственных делах. Именно так! Его многие знают, а многие еще и не знают. Одни, может случиться, бога своего за него молят, чтоб помог им, удовлетворял их чувства мой Митенька, а другие, конечно, боятся его и ненавидят. Хэ-хэ! Так ведь всегда...

— Загадочками говорите! — сухо и неприязненно бросил Адамайко.

— Акурат, как вы! — засмеялась Ольга Самсоновна, наблюдая обоих собеседников. — Будто язык у вас, Ардальон Порфирьевич, из одного мяса вырезан... Ой, потеха!

— Неужто — правда? — наивно, старчески хихикнул Жигadlo. Неожиданное восклицание Ольги Самсоновны как-то особенному было воспринято Ардальоном Порфирьевичем. Ее слова были — точно бросок резкого, ударившего в глаза света.

Они в секунду отзвучали, но, онемев, остались острой искоркой в сознании Адамейко, — и всегда настороженная мысль быстро подобрала их, как зоркий прохожий — случайную находку.

Больше того: с этого момента Ардальон Порфирьевич старался не упустить возможности как можно лучше наблюдать за новым своим знакомым, вслушиваться в его слова, — а новая, дразнящая и пугающая, мысль была придиричива к каждому сделанному наблюдению.

— Загадочки, загадочки... хм! — продолжал, усмехаясь, Жигadlo. — Вот и сын мой говорит — загадочки. Он так и говорит иной раз: «Вот, — говорит, — папаша, всюду среди людей загадочки, а мне их раскусывать. Понатыкано их на каждом шагу, что семечек в подсолнухе»... Ну, это правда... Его это дело — Митеньки. Профессия у него такая...

— Какая?

— А разве не сказал я? Нет? Вот уж старый пес, извините, действительно память отшибло. Профессия у Дмитрия Кирилловича сурьезная и ума требующая: следователь при суде...

— А-а... — вздохнул облегченно Адамейко и торопливо глотнул остывший уже чай.

— А я знала: уж гордится своим сыном Кирилл Матвевич... не один раз про него вспоминает!

— Верно, красавица моя, верно! Дозвольте-с вашу папирочку! Спасибо. Да, горжусь.

— А он вами? — спросил, ехидно прищурившись, Адамейко.

— Об этом особая речь, дорогой мой гражданин... А почему не гордиться мне? Не адмирал я и не сукошник богатый, а сын мой университетский знак получил. Да-а-с! И устроился. Хорошо устроился! Умница. Разве такому не устроиться, как скажете?

— Не знаю... — вяло ответил Ардальон Порфирьевич.

— А я знаю! Как мне не знать? Ну, кто я — отец его, Митеньки! Кем был, народивши Митеньку? Никем-с по тем временам! Ни за что не приметить бы меня! Ей богу, так... Нижегородский мещанин (и по сей день паспорт остался!), и занятие — самое бедное сначала. Можно сказать, грошовое занятие — на заводике фруктовых вод возницей был... Ситро и лимонад заказчикам развозил. Сидишь это на телеге, а позади тебя бутылочки разные в ящиках... в деревянных сотах. В ту пору и родился Митенька...

— Подождите! — прервал его Адамейко. — Вот вы сказали раньше... насчет наследственности...

— Ну, сказал. А что?

— Про какую же это такую?

— А любопытный вы, дорогой гражданин: Люблю любопытных... Сам этим делом страдаю. Сходство у нас с вами-и тут выходит! — хитровато заулыбался старик.

— Я ж говорила вам, Кирилл Матвеевич!

— Говорила... говорила, красавица наша. Любопытство-с, знаете ли, все равно, что ищейка у агента: все старается «накрыть» человека... Нюх я сыну моему, Дмитрию Кирилловичу, передал! Вот и есть наследственность... Нюх и сообразительность — вот что! Только гордый у меня Митенька: не признает этого, сам в себя, думает, пошел. Я будто здесь и не при чем... Ах, врет, врет Дмитрий Кириллович! Именно я тут главная причина! Я, потому все это пошло от лакейской моей службы...

— Погодите.. — прервал его Ардальон Порфирьевич. — Ведь путаете, заметьте!

— А чем?

— Чем? То, говорите, фруктовые воды продавали, то — лакейская служба вдруг?.. Так как же? И потом всякая наследственность при рождении только передаться может.. Ничего не понимаю! путанно очень...

— Никак-с!.. — ухмыльнулся старик Жигадло. — Вот вы послушайте и понимать станете. Переехал это я с семейством в Санкт-Петербург — попржнему... Ну, тут я определился на службу в ресторан к покойному Нестору Филипповичу Меньшуткину... на Садовой. Помните? а?

— Нет.

— Постойте... как же это так? Кто ж в Петербурге не знал известного Нестора Филипповича и его фирмы? Простите, дорогой гражданин, — вам сколько ж это годов минуло?

— А и в самом деле, Ардальон Порфирьевич, я ведь тоже не знаю... — заинтересовалась Ольга Самсоновна.

— Мне двадцать девять... полгода как минуло.

— Всего?!

— Всего, Ольга Самсоновна. А что?

— А мы... так себе! — подхватил Жигadlo. — Мы очень просто даже... удивляемся! Только что вы вот удивлялись, а теперь мы...

— Продолжайте ваш рассказ! — сухо сказал Адамейко.

— Это могу-с... Служу, значит, в официантах, а сына своего, Митеньку, между прочим, не забываю: в школу его отдал, наукам обучаю мальчика... Но, между прочим, и сам с ним разговоры веду. Революционные по тем временам, — ей богу! Вроде будущую добычу ему показываю. Вот, — говорю, — мы, мешане рабочие, а вот, — рассказываю ему, — буржуазы и дворянчики на белой подкладочке! Всюду, — говорю, — присматривайся к ним... и к каждой мелочишке. Ненавидь, — говорю ему, — потому, что отец твой, Митенька, при этих паразитах должен лакеем спину гнуть. А у кого уж лучше нюх на человека, как не у собаки, лакея или у следователя должен быть! Как скажете? Я, как лакей, по всякой мелочишке приходящего человека узнавал. Наблюдение! Вот и Дмитрий Кириллович в меня — в отца! Только выпало ему в жизни не официантом в кабаках служить, а нюх свой государственной и благородной службе отдать: раскрывает преступления. Младший, Сережка, — тот тоже вроде этим же делом занимается, только, простите, пешкой считаю я его! А, впрочем, упорство и честность у него. Что говорите, а? .

— Вот что... вот что, — дважды перебил его неожиданно оживившийся Ардальон Порфирьевич. — С сыном своим, Дмитрием Кирилловичем, встречаетесь?

— Два раза в месяц... по взаимному соглашению.

— И говорить приходится?

— Как же! Про умные вещи даже. Он, Митенька, отца своего уважает... Иногда, впрочем!

— Так... А вы передайте ему такой вот вопросик... Ну, будто это вам такая мысль пришла...

— Ну... ну? — насторожился Жигadlo.

— Вы так и спросите его... Вот, мол, Дмитрий Кириллович, под секиру правосудия, так сказать, вы человека всякого притягиваете... Очень хорошо даже, похвально! Каж-

дую мелочишку подбираете — чтоб человеку никуда уже не вывернуться... хорошо! Ну, так... Под секиру эту человека подставили, дело свое с несомненным умом совершили... хорошо! А не приходит ли вам, Дмитрий Кириллович, не приходит ли вам, мол, мыслишка иногда: что секира ваша страшная и справедливая — не секира вовсе, а... глупый, так сказать, перочинный ножик вроде?! Как, мол, тогда? Ведь для справедливости-то перочинный ножик — легковесен как будто?! и не страшен уже... и не поверишь ему, а?

— Не поверишь! — хитро блеснул водянистый глаз.

— Вот и я говорю! — все больше и больше воодушевлялся Ардальон Порфирьевич. — Вы так и скажите ему... Кому служите, мол, Дмитрий Кириллович? Какой власти? Революционной... интернациональной даже? Хорошо! А еще чему? Справедливости? Тут-то и начинается, мол, Дмитрий Кириллович! Тут-то ум ваш самый и потревожим... Не так? Вот, например, убийство. .

— Ну... ну?

— ...Вот, значит, вы, следовательно, все это дело раскопали, ум свой — ищейку! — на человека по всем правилам натравили, убийцу в тюрьму посадили, — подавай теперь следящего! Так?

— Выходит...

— Вот я и против! Я, заметьте, против такого ремесла... Потому плохо это все для государства нашего... для революции настоящей плохо. Может, убитый-то — дрянь, а убийца приятный человек и с мозгами хорошими?! Что? Может, убийцу и не надо, заметьте, под секиру тащить?! Может, в укывательстве этом и есть самая справедливость... служение настоящее власти! Вот вы и спросите сына вашего, Дмитрия Кирилловича...

— Опять вы про свое... Пунктик у вас свой в разговоре! — досадливо и хмуро вмешалась в беседу Ольга Самсоновна.

Ардальону Порфирьевичу показалось в этот момент, что чуть вдавленный, узкий рот ее еще больше сжался, и еще надменней и суше стала ее усмешка. Но она не смутила Ардальона Порфирьевича: разговор со стариком Жигадло приобретал теперь для Ардальона Порфирьевича какой-то особый смысл, одному ему понятный, волнующий.

Отказаться от этого разговора он уже не хотел и не мог, так как набрел уже, — по правильному замечанию Ольги Самсоновны, — на тот самый «пунктик», который почти всегда неусыпно жил у него в мыслях.

Кто знает, — может быть, суд — впоследствии — и сделал оплошность, доверившись только спокойному и точному, как протокол, показанию Ардальона Адамейко и не прибегнув, вместе с тем, к любопытной в таких случаях врачебной экспертизе? Впрочем, как известно нам, и последнее средство судебного разбирательства не всегда убедительно и для суда, и для подсудимого: подсудимый же — в данном случае Ардальон Адамейко — не вызвал, как мы уже в самом начале сказали, ничего подозрения о невменяемости.

— Пунктик? — переспросил Жигадло. — Разве часто приходится про убийц беседовать?

— Н-нет... нет... — нерешительно и испуганно вдруг отозвалась Ольга Самсоновна.

Она бросила умоляющий взгляд на Ардальона Порфирьевича, и он понял ее: Ольга Самсоновна всегда пугалась, вспоминая разговоры его на эту тему с мужем, Федором Суховым.

— Простите, — продолжал серьезно Жигадло. — Вот у меня к вам еще один вопрос. А почему — после объясню... Насчет, значит, «перочинного ножика» самого... Как скажете? Выходит, дорогой гражданин, правильно я вас понял? Справедливостью такой, значит, столько же сделаешь, сколько, вроде, тем самым ножиком? Так?

— Так...

— Гм! Не для справедливости, выходит, Митенька мой служит, а ремеслом себе хлеб зарабатывает, — так скажете?

— У всех ремесло! — уклончиво ответил Адамейко и вышел из-за стола.

— И выходит, в справедливость плохо верите?

— Плохо! — не мог уже сдержать себя Ардальон Порфирьевич.

— И коммунары, значит, насчет нее... спотыкаются вроде?

— Да вы — точно следовательно, вместо сына своего, Дмитрия Кирилловича! — хмурился Адамейко.

— Вы не пугайтесь: я ведь не для испуга спрашиваю! Почему — объясню сейчас. И в коммунальную справедливость не уверовали... Так... Теперь уж пончмаю... Потому до конца они не дошли... так? Так. И понимаю по вашим словам, — иное преступление, значит, прикрыть бы могли? Ну.. так, вроде... не на самом деле, а?

— Ну, а что?

— Хэ-хэ-хэ!.. — роняя сильный, потрескивающий смешок, завертелся вдруг на стуле Жигadlo. — Хэ-хэ-хэ-э... А у меня для вас, дорогой гражданин, уже и ответик есть. И не собственно мой — нет! Сына моего — Дмитрия Кирилловича: благородного человека, науку знающего... хэ-хэ-хэ!.. Готовенький ответ, как пилюлечка... Давно его Митенька мой приготовил. Давно, — говорю, — давно...

— Как же это так? — посмотрел на него Адамейко.

— А вот и объясню...

Старик Жигadlo встал и близко подошел к нему. Вышла из-за стола и Ольга Самсоновна.

— Ну?..

Жигadlo повернулся к ней и взял за руку.

— Вот, красавица наша, я и говорил-с: сходство имею большое, между прочим, сходство имею с вашим знакомым. по всяким таким суждениям. Только шестьдесят мне, а ему в два раза меньше-с... Но умный он; ваш знакомый!.. Как скажете? А вот сын мой, Митенька, — ум его не признает. И не простит ему! То есть, может, и встретиться им не придется, — и очень даже возможно это! — но только так оно и есть...

— Да при чем тут ваш сын?

— А вот и при чем, Ардальон Порфирьевич! Вот и знайте: не надо ему уже вашего вопроса передавать, потому ответ на тот вопрос уже имеется. Мне ответ дан!.. Да-с... Все, что изволили, говорить, — все в других словах я и сам, отец, умнице моему, Дмитрию Кирилловичу, выкладывал! Вот тут и понятны вы мне! — подошел он опять к Ардальону Порфирьевичу. — Выходит, что не вы порох выдумали, как говорится, и не я даже... Хэ-хэ-хэ.. А ответ его, сына моего, хоть и не полный, может, по хладнокровный и потому —

сильный, я вам говорю! Уж поверьте; потому, не зная того, почти за вас самого говорил я... Тоже вот, как и вы, расспрашивал и на многое такое критику наводил. Акурат почти все ваши вопросы и выкладывал. Так я ему, сыну моему, по чистой своей совести и высказал: вот, говорю, весь-то народ наш столько кровушки своей на землю вылил... а для чего? — Для полного благоденствия, — как скажете? Ну, вот. Словом, про все ваши соображения, дорогой гражданин, говорил. Такую это ему «партийность» свою развел — что на удивление, да и только! Хэ-хэ... Но тут же и ответ получил я. — «Что ж это, говорит, — Кирилл Матвеевич (всегда так называет меня), — самым первейшим революционером себя считаете?» И улыбается при этом. Смешно ему, Митеньке: прыть шибкая у отца... у старенького папаша, а? — «Ну, так как же?»... — Молчу я и не знаю, по совести говоря, что ответить. А он вдруг по-настоящему серьезным сделался, папиросу свою изо рта вынул — и говорит, без сожаления это ко мне говорит: «Никакой вы революционер, — говорит, — конечно, а потерявший себя мещанин духа только. Вот. Мещане, — поясняет, — разные бывают: которые, — говорит, — идею свою, как чайник в Апраксином рынке находят, — глупый этот зверь, но тяжелый и упорный, и намордник ему наша власть хороший придумала. А есть, — говорит, — и другие. За эти годы понаплодилось их много»... Много! — видали, Ардальон Порфирьевич? И вы туда же выходит, простите... И я с вами, как определил сын мой, Дмитрий Кириллович. Как скажете?

— Ну, ну... дальше! — внимательно вслушивался в каждое слово Адамейко.

— Дальше? А вот и дальше. «Понаплодилось, — говорит, — много, но простым житейским глазом, значит, сразу их не увидишь даже. Только каждый по-своему ушиблен революцией». Да, да — так и сказал, а я и запомнил: «ушибла, — говорит, — оттого всякий вздор кажется им свободной, так сказать, идеей. А в общем, — говорит, — ни чорта такой человек в новых событиях не понимает, любит только критику наводить и мудрецом непризнанным себя напоказ выставляет». И тут же Митенька чье-то имя отчество жене своей

назвал (партийная у меня невестка), усмехнулась она, — и показалось мне, что про какого-то важного и известного товарища речь зашла. Возможно, знаете: в газетах теперь всякое пишут. Ну, так вот... «Такой, — говорит, — мещанин, каждый по-своему, тихонечко идет, иногда своего добивается. У мещанина такого фантазия чуть ли не на полцарства приходит... а? Такого мещанина оттолкни, так он, все равно, бочком, бочком! Норовит за чью-то спину стать. Но сделать-то, совершить что — сам он не может (слаб больно, вся порода у него только мягкая и хитрая!), — так он толкает другого... подталкивает, поддразнивает. Нам, — говорит, — судейским, часто приходится таких людей видать». Вот и все. Ведь, по-своему, умел Митенька, — как скажете? А вот Сережка мой прост: ему только по приказам начальника и работать...

Весь этот разговор со стариком Жигадло долго и назойливо стоял в памяти Ардальона Порфирьевича.

Когда провожал в этот вечер Ольгу Самсоновну домой, показался ей опечаленным и рассеянным, и жена Сухова никак не могла понять истинной причины такого состояния своего спутника.

Только проходя уже по Обводному, Адамейко чуть оживился, — рассказал даже какой-то занятный армянский анекдот, и Ольга Самсоновна громко и долго смеялась. Прощаясь с ней у ворот, Ардальон Порфирьевич дольше обычного задержал в своей ее руку и неожиданно, глуховато, сказал:

— А ведь так дальше не может продолжаться, Ольга...

И не досказал отчества.

— Как? — искренно удивилась.

— Неужели... не видите, что со мной! Ведь все понимаете... Да я и скрывать не буду... Не таков я в чувстве...

Пальцы крепко сжали мягкую женскую руку. Ольга Самсоновна слегка отшатнулась.

— Пустите... Дворник идет: еще, бог знает, про что подумает!

— Пускай, — упрямо ответил Ардальон Порфирьевич. — Ведь я не в шутку это говорю... Я не могу больше...

— В Настюшу влюбились, — передать ей просите?.. — откровенно слухавила Ольга Самсоновна, взглядываясь во

двор, откуда приближались чьи-то медленные и тяжелые шаги. — Пустите, говорю: дворник! В другой раз потолкуем..

Она с силой выдернула руку и бросилась к воротам. Адамейко бросился вслед, стараясь вновь ухватить ее руку. Но пальцы скользнули только по отпрянувшему плечу, потом по шершавому рукаву жакетки, упали вниз, зацепив ее оттопыренный карман, и в руках Ардальона Порфирьевича остался только, спустя мгновение, выхваченный из кармана какой-то мягкий комочек, а Ольга Самсоновна уже была под аркой ворот.

— Подождите! — громко и возбужденно сказал он. — Вы вырвали что-то из кармана...

— А вы подымите и отдайте мне при случае!.. — услышал он в ответ знакомый насмешливый голос.

Ольга Самсоновна быстро удалялась. К воротам подходил дворник.

Ардальон Порфирьевич разжал кулак, — на ладони лежал маленький батистовый платочек. Ардальон Порфирьевич машинально встряхнул его, одну секунду подержал его за кончик и положил в карман своего пиджака.

Дворник слышал, как удалявшийся человек насвистывал задорную песенку обводных «шкетов».

Подымаясь к себе по освещенной лестнице, Адамейко вынул батистовый платочек и вновь посмотрел на него: он был темнорозового цвета, и посредине выжжена была (след от папиросы) кругленькая дырка.

### ГЛАВА XIII

Следователь губернского суда, Дмитрий Кириллович Жигadlo (к нему по случайности попало дело об убийстве на С-ской улице), проявил некоторую успешность в своем старании раскрыть это преступление: данные наружного агентурного наблюдения, несколько позже сообщенные ему, послужили бы наилучшим подтверждением догадок Дмитрия Кирилловича, — и виновный в убийстве, все равно, не избежал бы своей участи.

Однако, Дмитрий Кириллович, не дожидаясь этих данных, поспешил самым внимательным образом начать изучение этого дела, и поспешность, проявленная на сей раз, несколько не помешала точности раскрытия преступления. Сам же Дмитрий Кириллович впоследствии не без гордости вспоминал все это дело, в котором, — как сам считал, — обнаружил известную тонкость своего внимательного ума.

Выбранный им путь раскрытия этого преступления вынуждает и нас (и с нами — читателя) следовать по нему и начать в этой главе наше повествование с того момента, когда следователь Жигadlo приоткрыл дверь своего домашнего кабинета и взглянул в соседнюю комнату, откуда слышался шум детских голосов...

Никто в квартире не знал, почему в этот день у детишек Жигadlo появились новые гости, никогда раньше не приходившие сюда и неожиданно вызвавшие теперь к себе внимание и Дмитрия Кирилловича и его жены. Только она, жена, была посвящена в планы Дмитрия Кирилловича, да и то — не до конца.

Немало поспособствовали Дмитрию Кирилловичу еще два человека, находившиеся в этот день тут же: младший брат Сережа и знакомая нам уже Настя Резвушина. Впрочем, обоим им так и не пришлось быть свидетелями разговоров, которые вел старший Жигadlo со своими и чужими детьми.

Правда, Настенька, одолеваемая любопытством, неоднократно пыталась заглянуть в детскую комнату, но жена Жигadlo и получивший инструкции от брата Сережа каждый раз, под благовидным предлогом, мешали этому, — и приходилось сидеть в столовой и нехотя пить чай, любезно предложенный хозяйкой.

...Услышав детские голоса, Дмитрий Кириллович через полуоткрытую дверь внимательно оглядел ребятишек и снова сел за свой письменный стол, на котором теперь стояла большая вазочка со сладостями. Глубоко откинувшись на спинку высокого кресла, он закурил, медленно пуская длинные вьющиеся кольца. Несколько секунд они плавно взлетали кверху, сохраняя свою форму, — потом, на мгновение

остановившись, застыв, сворачивались быстро петлей и волокнистыми прядями дыма уходили к потолку.

Жигадло с любопытством наблюдал за каждым кольцом (иногда они вплетались друг в друга), перед пуском их, — губы комично вытягивались коротенькой толстой трубочкой — почти так, что глаза видели уже щеточку коротко подстриженных усов, таких же темных, глянцевоитых. Он настолько был увлечен этим занятием, что не заметил, казалось, того, как вошел из детской мальчуган, сын Леша, как, крадучись, забрался он под стол, между тумбами, стараясь не задеть там ног отца.

— Ты чего это, Леша? — встрепенулся вдруг Дмитрий Кириллович.

— Тс-с... папа! Мы играем в прятки... Новенький мальчик ищет.

— А-а... Ну, ладно.

Еще одно кольцо и еще одно — быстро, вдогонку, — и мысль Дмитрия Кирилловича побежала так же быстро, легко, затягивая уже в уме петельки неожиданно принятых решений.

По соседству, в детской, в коридоре, бегали, оживленно перекидываясь словами, споря и смеясь, развеселившиеся ребятишки, и каждый из них, — слышал Дмитрий Кириллович, — громко высказывал догадки, где мог спрятаться «хитрый Леша».

— А я знаю, где он! — как-то спокойней других раздался тоненький звонкий голос девочки.

— Где? Где?

— Он, наверно, там, где папа его или мама, — в тех комнатах. Павлик не пойдет туда искать, потому что он боится.

— А я не боюсь! Я дядю Митю знаю и тетю Соню знаю!.. узнал Дмитрий Кириллович голосок другой девочки, часто приходившей к его детям.

— Лешка, выходи! А то мы не будем с тобой играть!..

— Выходи, герой!.. — улыбнулся, наклонившись, Дмитрий Кириллович.

— Тише же, папа! А то мне искать придется!.. тс-с, — шопотом из-под стола.

Дмитрий Кириллович встал и, подойдя к двери, широко распахнул ее. Лицо его широко улыбалось, а глаза старались быть добрыми и ласковыми.

— Папа! Папа! У тебя Лешка? У нас было условие, а он... Мы так не хотим!

Он отыскал глазами приземистую фигурку мальчугана и подошел к нему.

— Это ты — Павлик?

Тот кивнул молчаливо головой.

— Пойдем: я тебе покажу, где Леша. Раз он не выполнил условия игры, вытащим его, башибузука!..

— Ага! Ага! — смеялись и кричали дети. — Вот тебе, Лешка!..

Все с шумом бросились в кабинет, и через минуту сконфуженный, но веселый Леша был наказан щипком своей сестренки.

— А я тебя, Женька, так ушипну, что... материя порвется!

— Ну, ну, ты, буян буянович!

Опять громкий хохот ребят покрыл слова Дмитрия Кирилловича.

— Как тебя зовут? — обратился он к девочке, все время старавшейся держаться возле Павлика. Как и он, она с любопытством осматривала большую комнату, установленную тяжелой кожаной мебелью, и украдкой поглядывала на высокого «взрослого», не чуждавшегося теперь детского общества.

— Меня — Галей, — ответила доверчиво и твердо.

— Вот за то, что ты первая догадалась, куда спрятался Лешка, — вот тебе первой и угощение...

Дмитрий Кириллович взял с вазочки кусок пастилы и протянул его девочке.

— А нам... нам, нам!

— Всем дам... немного позже. Продолжайте игру и можете теперь прятаться все и в этой комнате.

«Прятки» продолжались.

Дмитрий Кириллович и сам несколько раз принимал участие в игре — советами, укрывательством прятавшихся, и «Лешки

папа», такой добрый и жизнерадостный, — очень понравился Галочке. Он настолько был общителен с детьми, что она, при случае, не постеснялась в игре взобраться на диван, на котором сидел «Лешин папа», и клубочком спрятаться за его спиной.

Вообще все нравилось в этом доме Галочке Суховой, и только удивлялась, почему не приходит в эти комнаты «тетя Настя», так неожиданно приведшая сюда ее и Павлика. Но эта мысль песчинкой пропадала в ворохе общих радостных впечатлений.

Нравилось в «Лешином папе» и то, что он совсем по-хорошему, ласково расспрашивал ее про игры детей на Обводном, о том, какое платье, какого цвета она хотела бы иметь; есть ли сапожки у Павлика, хочет ли она учиться в школе.

А когда он сказал, что обязательно обо всем этом поговорит с ее «папой Федей и мамой Олей», — Галочка радостно, но удивленно посмотрела на него:

— А папа и мама вас знают, дяденька?

— Я их знаю... — уклончиво, но не меняя задумчивого и веселого тона, ответил Дмитрий Кириллович. — Я — Знайка-Всезнайка-Никому-не-Болтайка! — шутил он, и Галочка звонко смеялась.

Ей было так весело с «Лешиным папой», что она пропустила даже одну игру и осталась с ним у письменного стола.

Тогда-то Дмитрий Кириллович, развлекая девочку целым потоком шуток и прибауток, осторожно вдруг бросил:

— А дядя Ардальон, может быть, сегодня сюда придет... Он тоже очень добрый...

Опять недоумение.

— А он и к вам приходит?

— Да-да, деточка... И к нам и к вам. Ведь он у вас часто бывает?

— Ну, да! Как познакомился с папой, — так почти каждый день приходил. Вот теперь что-то не приходит... Дяденька, можно мне вот этого?.. Я и Павлику половину дам!

Она ткнула пальцем в пастилу.

— Хорошо, Галочка. Ешь. А потом я тебя еще чем-то угошу... тоже вкусным.

И он продолжал:

— Чего ж это дядя Ардальон к вам не приходит? Ай-ай, нехорошо так, я ему скажу...

— Пускай лучше не приходит, — покраснела неожиданно девочка.

— Почему?

— Так...

— Ведь он добрый?

— Ну... добрый. Только это раньше.

— Когда раньше?

— Когда у папы денег не было.

— А-а... — равнодушно протянул Дмитрий Кириллович, но темные зрачки глаз как-то по-особенному сверкнули. — Дядя Ардальон, наверно, просил денег у твоего папы, а он ему не дал...

— Нет, не так, дяденька! — оживилась девочка. — У папы моего нету денег.

— Вот какая ты Всезнайка!

— Ну, да... Если бы у папы было много денег, — и мне и Павлику купили бы платье и башмаки. Папа так мне раз пообещал...

— А вот ты говоришь, Галочка, — «когда у папы денег не было». Значит, теперь уже есть?

— Ну, да. Ему ведь дали на Шестой Роте! Я с папой туда ходила.

— Да, да... — закивал Дмитрий Кириллович. — Ты права, умница: пособие в учреждении папа получил. Так, так.

На одну мунуту он был сбит ответом этой маленькой свидетельницы, чьи показания, однако, не были занесены в «дело» об убийстве гражданки Пострунковой. Разговор о деньгах приобретал теперь не тот смысл; неожиданно всплывшая улика оказалась ложной.

Но первая неудача не могла остановить Дмитрия Кирилловича; к тому же, еще оставался повод для продолжения расспросов:

— Почему дядя Ардальон «только раньше был добрый»? А я думал, что он и теперь такой... Как же по-твоему, Всезнайка? Почему?

— Ну... так, — упорствовала девочка.

— Ах, ты такая «такалка»! Ты мне скажи: я дяде Ардальону не буду рассказывать. Мы с ним не дружим.

Галочка подняла голову, одно мгновение о чем-то соображала и, посмотрев доверчиво на ласково улыбавшегося «Лешиного папу», неожиданно сказала:

— Он нехороший выдумщик. Он наврал про моего папу. Потом... он велел папе пойти в пивную, и они пили там. И Павлик там заболел — вот что! И потом он еще врал... и обманул меня. Только вы ему не говорите, дяденька, когда он к вам придет.

— Нет, нет, детка. Он ведь у меня... очень редко бывает, и мы с ним не дружим. Ай, выдумщик, ах, какой нехороший выдумщик! — возвращал Дмитрий Кириллович ее мысль к этому слову. — Я с ним и так уже хотел, понимаешь, рассориться, а теперь — так уже наверно! — ободрял он девочку. — Вот так; выдумал и наврал? Ну и дяденька, а?!

В комнату вбежала дочь, Женечка.

— Папа, пусть Галя идет к нам играть! Идем, идем к нам...

Это грозило разрушить все планы Дмитрия Кирилловича.

— Иди... иди, Женечка: Галя через пять минут придет. И принесет вам вот все эти сладости. Марш!

И, когда ушла, повторил опять:

— Ну и дяденька... А я думал, что он хороший. . А ну-ка, расскажи!

— Я его боюсь... — жаловалась девочка. Он пришел и наврал такое страшное, — тако-о-ое нехорошее, дяденька. За такое в милицию берут...

— А что?

— Он сказал, будто папа мой кого-то убил.

— Ох, какой глупый и нехороший! Нет, его не надо любить...

— Я его потому и не люблю, хоть он угощение мне приносил... и даже Милке нашей давал, собачке. Я вам теперь все расскажу, — уже не старалась сдерживать себя Галочка: она рада была, что доброму «Лешиному папе» можно пожаловаться на «дяденьку», который однажды так напугал ее.

Ее внезапная детская словоохотливость как нельзя лучше помогла Дмитрию Кирилловичу; чтобы вызвать еще большее доверие к себе, он взял Галочкину руку в свою и ласково ее погладил. А заметив, что на платянце ее остались следы от сахарной пудры пастилы, — он стер их своим носовым платком, как поступил бы заботливый и внимательный отец.

Ничто уже не могло поколебать доверия к нему этой маленькой свидетельницы.

— Разве можно говорить про моего папу, что он убил? А тот дяденька сказал. Мама с ним спорила, а папа испугался и молчал... Мне стало жалко папу... я заплакала. А потом я хотела пойти к Павлику, а дяденька Ардальон меня не пустил. Вот он какой! И все время говорил, как будто убил мой папа, и его фамилию называет.

— Ах, какой глупый выдумщик! — повторил опять сочувственно «Лешин папа».

— Ну, да! А еще сладкие булочки и коржики и пирожки давал... Он, наверно, притворился, будто добрый.

— А когда это он про твоего папу выдумал?

— Как это... когда?

— Ну, например, давно или недавно... После того, как ты с папой на Шестую Роту ходила?

— Ну, да — после, — совершенно уверенно сказала девочка, — он пришел потом и все это говорил.

— Значит, это недельку или немного больше назад было? Или меньше?

— Недельку...

— А ты знаешь, Всезнаечка, сколько в неделю дней?

— Знаю, — улыбнулась Галочка. — Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь!

— Правильно. Вот молодец! Ну, а Павлик, — он ведь раньше заболел?

— Ну, да... когда в пивной сидели...

— А раньше, до пивной, ты дядю Ардальона когда-нибудь видела? Знакома была?

— Нет, дяденька. Он с папой тогда и подружился. И приходил часто. И приносит нам сладкую булочку и пирожки. Но я его боялась: зачем он про папу такое сказал...

— Подожди, деточка, — мягко остановил ее Дмитрий Кириллович. — Значит, дядя Ардальон приходил к вам после того, как выдумал так нехорошо про твоего папу?

— Приходил.

— А вот ты помнишь, Галочка, сказала мне: «как позавоумились, — часто приходил, а теперь не приходит»... Вспомнила?

— Ну да...

— Как же это так, Всезнаечка? Вот, например, Женечка моя приходила сюда...

— Конечно, приходила.

— Ну, вот... А потом я вдруг скажу тебе: нет, Женечка не приходила...

— Как же это так? — рассмеялась девочка. — Вы этого не скажете. Вы — взрослый... — пояснила она неожиданно.

— Вот именно! — уронил он осколочек своей мысли, уже несколько минут интересовавшей его; Дмитрий Кириллович внимательно посмотрел на свою юную собеседницу. — А знаешь, что? — весело обратился он к ней. — Они там в прятки играют, а я вот сейчас такую игру придумал... Мы их потом позовем... и научим. Хорошо?

— Хорошо, — улыбнулась Галочка.

— Вот что... Ты должна мне рассказать подробно, — понимаешь? — когда вошла сюда Женечка, что она сказала, к кому первому она обратилась?.. Потом: кто ей ответил — ты или я? И что ответил. Когда она ушла? Кто за ней затворил дверь? Где ты сидела, и где я? Понимаешь?

— Понимаю:

— Ты рассказывай все подробно, — все, что вспомнишь. Если правильно расскажешь, — ты выиграла и получишь... получишь что-то приятное. Неужели ты действительно выиграешь? — подбадривал он девочку.

— Ей богу, выиграю! — не утерпела Галочка. — Вот, дяденька, как вошла ваша Женечка, — все сейчас расскажу!

— А ну-ну!

— Как вошла она, — так я сейчас подумала: «Какое на Женечке хорошее платье, а она идет прятаться под стол: а там запылить можно!..» Потом вы, дяденька, сказали ей, что нельзя так. Она меня давай звать, чтобы я тоже шла играть. Так? А вы ей сказали: «Иди одна, Галя скоро придет и принесет вам вот это сладкое». Так, дяденька?

— Дальше... Дальше.

— Она пошла • жмуриться... прятаться в другое место. А я ей сказала: «Женечка, я приду через пять минут играть». Потом вы закрыли дверь и сели туда, на диван. Ну, выиграла я?

— Не совсем! — улыбнулся Дмитрий Кириллович. — Ты немного ошиблась. Может быть, ты и подумала, что Женя хочет спрятаться в этой комнате, но она этого не делала, и я ей не запрещал: это я Лешку раньше отсюда вывел. Ничего ты ей не говорила, ни одного слова. Говорил только я, а ты, наверно, только подумала, что через пять минут првнесешь туда сладости. Ну, вспомни теперь... Так ведь было?

— Правда, так... — смутилась девочка.

— Но все-таки ты свое получишь! — ласково погладил ее по щеке Дмитрий Кириллович. — Ну, вот теперь ты другое вспомни: приходил к вам дядя Ардальон после своей нехорошей выдумки? Подумай, подумай — и скажи.

Лицо Галочки сделалось напряженным, темные бровки сбежались, а глаза устремлены были в одну точку. С полминуты оба молчали.

Дмитрий Кириллович с внутренним трепетом ждал ответа: если Адамейко приходил после смерти своей соседки, и в квартире Сузова шла речь об убийстве, — то можно было уже отпустить эту маленькую свидетельницу, не сознававшую, какую громадную услугу оказывает она следователю Жигадло!

Девочка рассказала, — неожиданно для него, — больше, чем мог ожидать Дмитрий Кириллович.

Подготавливая встречу с ней, он надеялся только добыть подтверждение одной из косвенных улик против Ардальона Адамейко, для чего и ждал случая предъявить Галочке нечто спрятанное пока в ящике письменного стола.

Случай этот до сего времени не представлялся, но теперь уже Дмитрий Кириллович не жалел об этом, — девочка сообщила о более важном обстоятельстве: Адамейко и оба Суховых говорили о каком-то убийстве. Больше того: называли даже имя убийды...

— Вспомнила, дяденька: он приходил... обязательно приходил после выдумки. Всегда приходил.

— И ты его потом... не полюбила?

— Ну, да...

Дмитрий Кириллович встал с кресла и впервые за время разговора закурил: два кольца быстро, одно вслед за другим, вылетели изо рта.

Все было ясно.

Но для подтверждения своей мысли он еще раз спросил:

— Значит, ты неправильно, деточка, сказала раньше, что дядя Ардальон в эти последние дни к вам не приходил? Правда, ведь, — неправильно?

— Нет, я правду сказала, дяденька: теперь он к нам не приходит. Ну, хоть Павлика спросите. Или папу самого... Нет, вспомнила! — неожиданно вновь обнадеедила она Дмитрия Кирилловича. — Недавно один раз пришел. Еще папа на него что-то рассердился...

— За что?

— Не знаю, дяденька. Он принес мне и Павлику тоже пирожочки и дал нам. А папа выхватил у него и бросил на землю: «Пусть, — говорит, — собака их съест, а не мы». А я сама страшно хотела съесть: люблю их...

— Такой? — быстро спросил Жигadlo.

Он открыл ящик письменного стола и вынул тарелочку, на которой лежало несколько пирожков одинакового размера и формы.

— Н-нет, это длинненькие...

— Ну, так такой? — на ладони два кругленьких, маленьких пирожка, вынутых из того же ящика.

— Вот такие... это они самые, дяденька! Можно попробовать?

— Не стоит, Галочка, — усмехнулся Жигadlo: — они очень черствые. Ты вот возьми из этих: они тоже вкусные. А теперь скажи мне, — и сможешь уже пойти к детям. Скажи, когда ж это папа не велел тебе и Павлику кушать пирожочки?

— Я на папу не жалуюсь! — покраснела и тихо сказала девочка. — Дяденька, можно мне и Павлику и тете Насте?

— Можно, можно, деточка. Папа правильно тебе сказал: пирожочки были твердые... и невкусные. Вот как эти...

— Нет! — перебила Галочка. — Они были совсем мягенькие, и Милка их быстро скушала... И дядя Ардальон забрал обратно один и сказал, что сам съест.

... Через несколько минут Дмитрий Кириллович сидел уже один в своем кабинете, дверь в детскую была плотно прикрыта, да и самих детей повели в столовую пить чай. Было тихо, — и никто уже не мешал следователю Жигadlo сидеть,

глубоко откинувшись в кресле, и выпускать изо рта дымные вертялые кольца: Дмитрий Кириллович сосредоточенно думал.

Несомненно, показания Галочки были противоречивы; этого он ждал с самого начала их беседы. Как юрист, он знал, с какой осторожностью надо относиться к показаниям детей, чья впечатляемость, хотя и бывает часто острой и продолжительной, — почти всегда, однако, лишена отчетливых форм: дети часто путают время, когда происходило то или иное событие, путают лиц, принимавших участие в этих событиях, причем могут забыть, в таких случаях, действительных участников и, наоборот, могут называть тех, кто в этих событиях никакого участия не принимал.

Все это делается, вместе с тем, с полной уверенностью, что так именно это и происходило, — острая детская память всегда дополняется и пересекается еще и воображением, и юные свидетели задают сплошь и рядом суду очень трудную задачу: отделить в их показаниях правду от бессознательного вымысла.

Дети всегда присочиняют, — это хорошо знал следователь Жигадло, и психология свидетельских показаний детей всегда представлялась ему, как и всем судебным работникам, очень опасным и запутанным лабиринтом.

Он наилучшим образом убедился в этом несколько минут тому назад, когда, проверяя память Галочки, заставил девочку подробно рассказать о посещении этой комнаты его дочуркой.

Читатель также, вероятно, заметил уже крупную ошибку в рассказе Галочки: напугавший ее разговор Ардаљона Адамейко с обоими Суховыми, происходивший в первые дни их знакомства, она отнесла к позднейшим дням; да, кроме того, она по-своему восприняла этот разговор, чему еще немало способствовало тогда ее детское воображение, слившееся сразу же с памятью.

Об этой ошибке Дмитрий Кириллович не мог, конечно, знать, но она послужила для него наилучшим подтверждением его догадок насчет истинного виновника преступления.

Этого места в рассказе девочки было уже достаточно для того, чтобы следователь Жигадло мог принять решение об

аресте убийды. А когда Галочка совершенно точно передала ему сцену с брошенными на пол свежепечеными сладкими пирожочками, — Дмитрий Кириллович уже окончательно утвердился в своем мнении.

Девочка оказалась более важным свидетелем, чем он мог предполагать. Тем приятней ему было сознавать свой успех следователя, прибегнувшего к не совсем обычным формам допроса малолетней свидетельницы — допроса в домашней обстановке, когда девочка никак не могла почувствовать ни своей истинной роли, ни роли доброго «Лешиного папы».

Следователь Жигалло имел еще основание быть довольным своей работой. Внимание, которое он всегда уделял незначительным, казалось, мелочам в каждом деле, и на этот раз не пропало даром.

Посетив квартиру Пострунковой, сразу же, в день обнаружения преступления, Дмитрий Кириллович самым тщательным образом расспросил обо всех жильцах этого дома и очень усердно, в течение долгого времени, изучал и обследовал квартиру покойной Варвары Семеновны, узнавал о ее жизни, привычках, привязанностях, о характере встреч с соседями по дому. Акт предварительного дознания служил ему в этом отношении путеводной стрелкой. Острие ее совершенно логически останавливало внимание на показаниях свидетеля Ардальона Порфирьевича Адамейко, как лица, чаще всего (вместе с женой и отдельно) встречавшегося с покойной Варварой Семеновной, так еще и потому, что в первом же показании свидетеля Адамейко был один момент, всегда в таких случаях заинтересовывающий: денежные взаимоотношения Пострунковой и жены Адамейко. Но это было обстоятельство, на которое мог бы обратить внимание любой следователь, и то, что отметил его и Дмитрий Кириллович, ничем еще не выделяло его наблюдательности.

Гораздо ценней и остроумней была другая мысль, пришедшая на ум Дмитрию Кирилловичу уже тогда, когда им были собраны все необходимые сведения об Ардальоне Адамейко, и особенно после того, что он узнал о соседе покойной Пострунковой от своего брата Сергея, работника уголовного розыска.

В этом месте нашего повествования следует, хотя бы вкратце, осветить роль младшего Жигадло в раскрытии преступления на С-ской улице.

Это он, Сергей, посетил, прикинувшись обследователем из профессионального союза, квартиру безработного наборщика Сухова и, уходя, встретил у подъезда, во дворе, оживленно беседовавших Ардальона Порфирьевича и Галочку. Они сначала не заметили недалеко от них остановившегося человека в летнем царусиновом пальто и не обратили внимания на то, что он внимательно прислушивается к их разговору. Не обратил на него внимания Адамейко и позже, когда человек этот поднялся вслед за ним по лестнице, чтобы слушать дальнейшую беседу девочки с гостем ее отца.

По долгу своей службы Сергей Жигадло дождался в тот вечер Ардальона Порфирьевича на улице, следил за тем, куда так поспешно бежал он вместе с Суховым, а позже — проводил незаметно Ардальона Порфирьевича до ворот его дома. После беседы с дворником Сергей Жигадло знал уже почти все, чем мог его заинтересовать теперь Ардальон Адамейко.

Служка за Ардальоном Порфирьевичем продолжалась, однако, совсем недолго, несколько дней, так как оказалась вскоре совсем ненужной: проводилась она за ним только потому, что нужно было узнать всех знакомых Федора Сухова, а подозрение в преступлении, павшее, было, одно время на безработного типографского наборщика, вскоре же совершенно отпало, так как истинный виновник всего не замедлил покаяться.

Но это ошибочно приписанное Сухову преступление лучше всего станет понятным читателю тогда же, когда узнает о нем и сам Федор Сухов: уже после убийства вдовы Пострунковой.

... Сообщенная братом беседа Адамейко и Галочки на лестнице дала внезапный толчок пытливой мысли Дмитрия Кирилловича.

В тот же день в опечатанной им раньше квартире убитой появились вновь следователь Жигадло, и управдом, вошедший вместе с ним в комнаты покойной Варвары Семеновны, был искренно удивлен тем, для чего понадобилось этому человеку приезжать: Дмитрий Кириллович отыскал блюдо, на котором оставались лежать отвердевшие, черствые уже пиро-

жочки, и два из них, аккуратно завернув в бумагу, положил к себе в портфель. Затем — уехал.

Эти пирожочки могли, по мысли Жигадло, послужить косвенной уликой против предполагаемого преступника: если каким-либо образом такие же пирожочки попали в руки Адамейко или его приятелей после обнаружения преступления, — в руки следователя попадала уже важная, ведущая нить.

Учтя все сведения о взаимоотношениях семьи Сухова и Адамейко, Дмитрий Кириллович решил отыскать эту нить в необычном допросе малолетней Галочки. Путь, избранный им, оказался правильным.

Еще до того, как ушла из его квартиры Настя Резвушина с детьми Сухова, Дмитрий Кириллович выехал из дому, предварительно вызвав по телефону дежурного своей камеры. Приехав туда, следователь Жигадло подписал ордер на арест троих лиц.

#### Г Л А В А { XIV }

Следователь Жигадло допустил ошибку: арестовать надо было двоих.

В сентябрьское пасмурное утро двое эти вышли из-под арки большого серого дома на Обводном и, свернув налево, пошли вдоль канала торопливым, но не очень быстрым шагом, часто спотыкаясь и скользя.

На тротуарах было мокро, грязно, а в встречавшихся по дороге выбоинах лужи лежали черные, хмурые, холодные.

Небо тяжелой, громоздкой кладью туч свисало книзу, и ветер, опричник кружившийся над великаном-городом, заывая, хлестал их, — и небо секло одетую в камень землю упругой и косой дробью дождя.

Черная вода в канале быстро прибывала, бунтовала, — и весь он вспух, как рука, вздутая венозной кровью. Улица, потускневшие здания — находились потревоженной неуютной совой.

Оба пешехода прошли два квартала по каналу, завернули в узкий переулок, потом пошли по одной из Рот — к более людному сейчас Забалканскому проспекту, на углу которого один из них неожиданно остановился:

— Подожди... Вымок я. Под навес, что ли, станем?.. Рано еще — десять только.

— Отговорочка! — нервно и недовольно буркнул другой и, не останавливаясь, схватил своего спутника за руку. — Время убежит, — и будет тебе эндондершиш!

— Погода чортова...

— Что погода? — Сказал тоже! Лес рубить — под ноги не смотреть... Погода — что надо. Лучший союзник это для нашего дела... Эй, тетка, не лезь под ноги!

Адамейко (это был он) с силой оттолкнул шедшую впереди женщину и увлек за собой своего спутника.

Действия Ардальона Порфирьевича были сейчас порывисты, нервны, как и слова, падавшие непривычно коротко и броско.

За всю дорогу от Обводного и Сухов и Адамейко впервые только заговорили. Молчаливые, сосредоточенные, — каждый по-своему, — они торопливо шагали по улицам, не глядя друг на друга, словно, встретясь они взглядами или заговори, — какая-то неожиданная преграда может встать на их пути.

Лучше всего понимал это Ардальон Порфирьевич, ощутивший в себе теперь какой-то особенно крепкий прилив воли и внутреннюю твердость, чего, — чувствовал, — не доставало его спутнику.

Вот почему, когда Сухов остановился вдруг и попытался завести разговор, Адамейко энергично оборвал его и ускорил шаги: уже совсем недалеко была С-ская улица, и там — зеленый фасад плоского, казарменного типа, дома, где жила Варвара Семеновна Пострункова, и откуда почти час тому назад ушел за Суховым Ардальон Порфирьевич.

Остаток пути прошли так же молчаливо.

Только тогда, когда попали уже на С-скую улицу, Адамейко быстро и настороженно сказал своему спутнику:

— Когда войдем во двор, сделай вид, будто мы не знакомы... Обязательно!

Сухов с нервным усердием закивал головой.

— Вот именно... Конечно.

Он не знал, в каком доме проживает Ардальон Порфирьевич, и в каждый, к которому они приближались, — еще издали напряженно и жадно всматривался, идя для этого по краю панели, закидывая по-птичьему голову вбок и кверху.

Косой частый дождь обильными струями растекался теперь по его правой щеке, проникал за ворот тужурки, неприятно щекотал шею, вызывая невольный озноб всего тела. Но Сухов словно не замечал всего этого, не старался спрятать свое лицо от холодных тяжелых капель дождя, как делал это всю дорогу Ардашон Порфирьевич, глубоко втянувший голову в суконную воронку торчком приподнятого воротника осеннего пальто.

Мысль Федора Сухова ушла теперь от него самого, оставила тело — пустым, нечувствительным ко всему окружающему, механически движущимся. А, может быть, оно, тело, оставило ее позади себя: потому что мысль, ползая сейчас на острие взгляда по стиснутым плотно друг к другу незнакомым домам, была бессильна проникнуть вовнутрь какого бы то ни было из них, где должна была, — как знал уже, — проживать такая же незнакомая женщина, — и мысль тогда неожиданно убегала отсюда и останавливалась уже у порога хорошо известной ему, Сухову, квартиры — его собственной.

Мысль должна была опередить действие, но она это делала легче всего, представив его себе в наиболее знакомой обстановке.

Так и было:

Спальня Сухова, маленький шкаф за кроватью, у окна; в комнате какая-то впервые увиденная старая горбатенькая женщина и он сам — Федор Сухов. Как сквозь дымчатые стекла очков, видит он, но не совсем ясно, как бросается он к испуганной горбунье, как хватает ее за суховатые кисти рук, как куда-то падают эти руки, словно отвалившись... И сразу затем он, Сухов, прячет в карманы толстую пачку акуратно сложенных денег и — быстро уходит. Вот — четвертый этаж, третий, первый, вымощенный камнем двор, улица, вода канала, весело пробегающий трамвай... И почему-то — теплое, желтое солнце. Вот и все. Нет, не совсем. Еще вот так: горбатенькая старушка подымается с пола — ведь никто же ее не убивал! Горбатенькая старушка только крестится.

— Стой!

Мысль слега на склизкую сырую панель, и тело почувствовало колкий озноб.

— Стой... — скороговоркой, тихо говорил Адамейко. — Нам переходить на ту сторону. Видишь... зеленый дом? Там. Я переходить буду сейчас. Ты иди этой стороной... понимаешь? А потом, через минуту, тоже переходи — возле ворот встретимся... Предосторожность такая. На всякий случай.

На той стороне — зеленый дом. В ту сторону ни разу не посмотрел раньше, не думал, что там...

Мысль уже потеряла знакомый путь к квартире на Обводном, — Федор Сухов знал теперь, где все это случится.

Через минуту он догнал своего спутника под аркой ворот, где Ардальон Порфирьевич прилежно читал объявления своего жилищного товарищества.

— Я вот пойду туда... к черной лестнице. Видишь? — полупопотом сказал он, стоя спиной к отряхивавшемуся от дождя Сухову. — Ты последи, куда... и — за мной. Если изменить что надо, — там скажу, на лестнице. Видишь — флигель?

Сухов не помнил, как он очутился у входа на черную лестницу, где его поджидал уже хорошо знакомый с расположением квартир Ардальон Порфирьевич.

— Ну, пойдем к дуре! — тихо проговорил он, близко придвинув к Сухову свое мокрое от дождя лицо.

Оно было сейчас серым, линиявым — как непросушенный чулок.

— Вытрись, Ардальон... — невольно сказал Сухов.

— Чудак ты, заметь! О чем ты сейчас думаешь!

Но Сухов и сам не знал, о чем собственно он сейчас думал. Покуда тихо подымались по лестнице, мысли вдруг склеились, перепутались одна с другой, так что не было уже времени, чувствовал, отделить их друг от друга: сознание окутала тягучая, обессилившая темь.

Он не знал, каким путем они попадут в квартиру вдовы Пострунковой, как и не представлял себе, как все то произойдет. Он почти бездумно следовал за Адамейко.

Обо всем этом и Ардальон Порфирьевич не имел сейчас ясного представления. Но прилив той воли и настойчивости, которую он ощутил в себе сегодня, не покидал его и в этот момент.

Ардальон Порфирьевич был убежден в успехе задуманного им дела, а как должно будет оно через минуту начаться, —

об этом не хотелось уже сейчас думать. Он помнил только об одном: это обязательно случится, потому что ему, Ардальону Порфирьевичу, соседка откроет дверь без каких-либо подозрений о цели его прихода. И уже там, в ее квартире, он успеет обдумать возможность для Сухова проникнуть в комнаты Варвары Семеновны.

Однако, кое-какой план у обоих участников преступления существовал, и был он предложен еще раньше Ардальоном Адамейко.

О плане этом Ардальон Порфирьевич напомнил Сухову, когда они уже подходили к третьему — последнему этажу.

— Не забудь... Меня первого ударь, — упаду я в обмороке, а потом ты уже к ней, понимаешь?.. Чтоб не подозревала на случай чего... помешает если кто...

Сухов молчаливо кивал головой. Он боялся теперь подать свой голос: было страшно — самому не узнать его.

Дойдя до последней площадки, Ардальон Порфирьевич несколько секунд прислушивался, не идет ли кто позади них по лестнице, и, убедившись в полнейшей тишине, быстро шагнул к дверям Пострунковой. Он хотел уже протянуть руку к звонку, но стоявший рядом Сухов остановил его:

— Ардальон! Как же это так... сразу, а? Как же это я...

Мгновение Ардальон Порфирьевич о чем-то соображал. Решимость и сейчас не покидала его.

— Ты вот сюда... непременно сюда! На две минуты только. Как открою я дверь — ты услышишь... Обязательно. Две минуты только...

Он указал рукой на маленькую узкую лестничку с другого края площадки, перебросившую десяток ступенек к приотворенной двери чердака.

— Вот сюда. Быстрей! Не бойся, никого там нет...

Но Ардальон Порфирьевич ошибался.

Как только Сухов скрылся за дверцей чердака, Адамейко дернул ручку звонка, — и через несколько секунд услышал знакомый голос соседки:

— Кого надо?

— Откройте, Варвара Семеновна. Это... я...

Крюк за дверью упал, язычок французского замка мягко отошел в сторону.

— Пожалуйста.

В простенке между обеими кухонными дверями стояла вдова Пострункова. Сзади нее, на плите, шипел примус.

Ардальон Порфирьевич схватился рукой за дверь и широко распахнул ее, входя в квартиру.

В этот-то момент произошло то, чего не ожидал Ардальон Порфирьевич и чего всегда боялась так вдова Пострункова; по маленькой лестничке, с чердака — быстро сбежал на площадку большой серый кот, потревоженный, очевидно, спрятавшимся Суховым.

В два прыжка кот этот очутился у открытых дверей квартиры и — ловко шмыгнул туда, прежде чем Адамейко успел закрыть за собою дверь.

— Ай-ай! — вскрикнула озабоченно Варвара Семеновна, бросившись к коту. — Ловите его, подледа!

Из глубины квартиры выбежал, задорно лая, белый шпиц.

— Ловите! — кричала Варвара Семеновна, протягивая руки к испуганно заметавшемуся коту.

Он пробежал у нее между ног, вскочил сначала на вязанку дров, фыркнул оттуда на догнавшего его шпица, потом, вспрыгнув, ринулся по коридорчику в комнаты.

Варвара Семеновна и собака побежали вдогонку.

Все это продолжалось несколько секунд. Ардальон Порфирьевич быстро прошел вслед за хозяйкой. В его уме мелькнула неожиданная мысль.

— Варвара Семеновна... а Варвара Семеновна! — громко кричал он, догоняя ее. — Разрешите помочь. Уберите Рекса в столовую и закройте туда дверь. Собака, знаете ли, в данном происшествии только мешает. И злит кошку! Уж разрешите, я этого нежданного гостя сам лично изловлю и водворю! Не беспокойтесь, Варвара Семеновна...

— Ах, подлец! Вот подлец! — волновалась вдова Пострункова, стараясь поймать за ошейник вертевшегося по комнате шпица. — Нахальный кот, — я его знаю: это — жичкинский, кассира!

— Уходите! Уходите с собакой в столовую и крепко держите с той стороны дверь... — торопил ее Ардальон Порфирьевич. — Я уж сам, — поверьте.

— Ну, ну... спасибо, батюшка. Рекс, поди сюда! Рекс, — кому говорю?!

Она, наконец, поймала его и скрылась с ним в соседней комнате, плотно прикрыв оттуда дверь.

Адамейко медленно подошел к серому коту, забившемуся за угол письменного стола, и протянул к нему руку.

— Кис-кис-кис... Ах, ты, глупый какой!.. дружок какой!

Он бережно взял его на руки и быстро, почти припрыгивая, отнес его на лестницу.

Ардальон Порфирьевич выбежал на площадку и глухим шопотом позвал Сухова:

— Тс-с-с... Можешь скоро входить... Дверь не захлопну. Слышишь?

С чердака в ответ раздалось такое же глухое и короткое покашливание.

Адамейко вернулся в кухню, выключил внутри французский замок и прикрыл за собой обе двери.

«Вот так... вот так... Сейчас... Сейчас,— стучалась в виски горячая, неудержимая мысль.— Вот сейчас...»

Навстречу бежала белая собачонка, а сзади нее торопливым шагом — хозяйка квартир.

— Фу, ты — и примус даже забыла потушить... Вот какаинный кот!

Ардальон Порфирьевич подошел к плите и выполнил желание Варвары Семеновны, — теперь нужно было выигрывать каждую секунду.

— А вы умаялись, батюшка! Пойдемте в комнаты. Да сбросьте пальто: вымокли, чай, здорово...

В коридорчике, на гвозде, оставил отяжелевшее от дождя пальто и шляпу и, вытирая на ходу мокрое холодное лицо, вошел вслед за хозяйкой в маленькую гостиную. Руки его дрожали, и носовой платок не сразу влез в карман.

— Сарай хотел посмотреть... для зимы, конечно. Дворника искал — нету дворника... На черную лестницу от дождя убежал... и к вам, — неловко бормотал он, растерянно улыбаясь. — И вот, может, к стати: происшествие с котом какое...

— Спасибо, спасибо, Ардальон Порфирьевич! Сидите, пожалуйста. Я вас сейчас... свежими пирожочками: утречком рано испекла. Сейчас, сейчас...

Вынесла из столовой большое блюдо с яблочными пирожками и поставила на черный столик.

— Кушайте. И Рексеньку можете угостить: он еще не пробовал. Да кстати и зашли: у меня к вам дело есть. Совет, в общем... Комнату сдать собираюсь.

Оживленно и громко разговаривая, она не услышала, как закрипела кухонная дверь. Настороженное ухо Ардальона Порфирьевича тотчас же уловило этот скрип.

Он сел на диванчик, посадил к себе на руки шпица; от мохнатой шерсти собаки юбка шло густое тепло.

— Одну минуточку, батюшка: юбку переодену, а то, и в самом деле, будто нищенка какая!.. Кухонный шик!

Она выразительным жестом показала на свою грязную, засаленную юбку, изорванную во многих местах.

Она прикрыла за собой дверь в спальню.

После этой минуты Ардальон Порфирьевич никогда больше не видал в живых вдовы Пострунковой...

В кухне отчетливей раздался скрип шагов. Теперь его услышала и собака. Она наострила уши, вытянула морду и попыталась соскочить с колен державшего ее Адамейко.

Но Ардальон Порфирьевич крепко прижал к себе шпица, нервно и торопливо гладил его мягкую шерсть, нежно чесал у собаки за ухом.

Она притихла, да к тому же опять притихли в кухне человеческие шаги.

— Да, вот хочу комнату одну сдать. Одинокому, конечно. Приличному...— раздавалось громко из спальни.

Но Ардальон Порфирьевич не слышал уже этого голоса.

Он чувствовал, что вот-вот его оставит сознание, как покинула его в этот момент и та решимость, с которой он перешагнул порог своей соседки. Если сейчас вот не произойдет то самое,—он потеряет и тот остаток воли, который еще он в эту минуту судорожно осязал: он чувствовал, а не видел,—что рука его еще не перестала осязать чью-то мохнатую теплую шерсть, что другая рука то хватала с блюда, то так же быстро клала обратно липкие, мягкие, тоже теплые еще, пирожочки, а ноги вздрагивали и терлись одна

о другую, — как ищут защиты друг у друга слепые и слабые, оставленные сукой, щенки.

Потом рука перестала гладить теплую шерсть, — собака потянулась с жадностью, высунув розовый язычок, к знакомым пирожочкам, собака просила знакомого ей человека достать эти пирожочки, и та же рука схватила вновь один из них и поднесла его к жадному влажному рту беленькой собаки.

И только о с л я з а л у себя во рту какое-то движение своего собственного языка:

— На, на, Рексенька... Кушай. Кушай. Кушай.

И так все время: ласкала собаку, нежно проводил рукой по ее шерсти и приговаривал:

— Кушай. Кушай. Кушай...

И так иногда:

— Еще вот, На, Рексенька. Кушай...

И крепко-крепко прижал к себе вертлявое теплое собачье тельце.

Ошибался впоследствии прокурор, убеждая судей в том, что Ардабон Адамейко, идя на преступление, заранее готовился использовать дружбу свою со шпицем вдовы Пострунковой!..

Услышала теперь чьи-то шаги и Варвара Семеновна: вот — в коридоре.

— Кто там? — крикнула испуганно.

— На. На. На... Кушай! — шептали обескровленные губы, и рука цепко зажала ухватившую пирожочек собачью морду. — Вот так... Вот сейчас...

— Арда... — задохнулся тот же знакомый голос.

Дверь из коридорчика в спальню с шумом распахнулась: порог перешагнул незнакомый человек с искаженным, вздрагивающим лицом, с высоко поднятой правой рукой, сжимавшей круглый тяжелый обрубок полена.

Рука быстро и круто размахнулась, нанося удар в побагровевшее, застывшее лицо.

— Ард-д...

Полено не успело раздробить окаменевшее, покрывшееся мелким потом лицо: Варвара Семеновна легомко пошатнулась и тяжело упала навзничь.

В этот же день, уже позже приглашенный органами дознания врач констатировал, что вдова Пострункова умерла от разрыва сердца. А еще позже, на суде, адвокат Федора Сухова ставил судьям вопрос: считают ли они, что гражданка Пострункова умерла насильственной смертью?..

Адвокат умело использовал бесстрастное заключение врача и очень хорошо построил свою речь в защиту Федора Сухова. Защитник мог признать на крайний случай, что в данном деле имело место только покушение на убийство, а не самое убийство, а раз так,— то неизвестно, сделался бы Сухов убийцей, и можно ли теперь считать его таковым? Пусть даже суд не поверит словам подсудимого, что в квартиру Пострунковой он шел с целью одного лишь грабежа,— но пусть суд не поверит и прокурору, «так вольно обрацающемуся со статьями уголовного кодекса»...

Соответственно с этим, защита просила суд признать и Ардальона Адамейко не соучастником в убийстве, а соучастником в грабеже, результатами от которого он, кстати, и не пожелал даже воспользоваться.

Так было позже, на суде.

Но утром девятого сентября был такой момент, когда один из подсудимых, Федор Сухов, и сам не сомневался в том, что только что убил тяжелым круглым поленом беззащитного незнакомого человека.

Рука размахнулась, потом мгновенно выбросилась вперед и, роняя вырвавшееся полено,— упала книзу, больно зацепив ногу чуть ниже бедра. Прежде, чем понял, куда упало полено,— увидел, как зашаталась и безжизненно опустилась на пол побагровевшая женщина, как сверкнул перед глазами краешек взлегевшего тяжелого дерева и — как мелькнула тогда же неповторимой точкой чья-то мгновенная смерть...

В эту минуту Сухов был убежден, что случайно вырвавшееся из рук полено нанесло этот смертельный удар. Но оно уже далеко лежало от бездыханной Варвары Семеновны, и, когда взметнувшийся взгляд догнал его, — Сухов понял свою ошибку.

Инстинктивно, неожиданно для самого себя — он перекрестился. И — бросился в соседнюю комнату.

— Тс-с, Ардальон... Уже!

Адамейко быстро поднялся с диванчика, не выпуская из рук равнодушно облизовавшегося шпица.

На дылочках, словно боясь, что она может услышать, он отнес собаку в смежную комнату, столовую, закрыл туда дверь и так же тихо вернулся к неподвижно стоявшему на пороге Сухову.

Минута движения вернула Ардальону Порфирьевичу утраченную было решимость. Она пришла вновь со своей неотступной спутницей — осторожностью.

— Проверь... — еле слышно прошептал Ардальон Порфирьевич. — Может, жива... обморок. Или притворяется!

— Идем вместе... — поманил его рукой Сухов.

— Нет, нет! Я дверь возьму на крюк. Не запер? Нет?..

Он тихонько выскользнул в коридорчик, схватил с гвоздя пальто и шляпу, надел на себя и выбежал в кухню. Когда накинул крюк, — для чего-то вытер лежавшей на водопроводной раковине тряпкой мокрые посьеды на полу и так же тихо направился в комнаты.

Сухова уже не было в гостиной. Одну минуту Ардальон Порфирьевич прислушивался к возне, происходившей в спальне Пострунковой, потом подошел к двери и — в щелочку — заглянул туда: Варвара Семеновна неподвижно лежала у самой кровати, на коврик; руки и ноги ее были связаны полотенцами, и над узлом одного из них еще возился Федор Сухов.

— Не дышит? — спросил шопотом Ардальон Порфирьевич.

— Никак... Холодеет...

— Ну, бери — в комод!

Ардальон Порфирьевич шагнул в комнату, стараясь не смотреть на покойницу. В двух шагах от него — лежало полено. Ардальон Порфирьевич поднял его и, торопливо отнес в кухню, положил его в общую связку дров.

Через минуту Сухов поспешно прятал за пазуху, в карманы выскальзывавшие из рук пачечки денег.

— На, возьми себе! — совал он их Ардальону Порфирьевичу.

— После... после! — шептал тот. — Уходи... скорей!

— Как... вместе? — судорожно вырвался рокочущий басок Сухова. — Куда выходить... а?

Залепленный пластырем желтенького бельма левый глаз — метался бессильным, застигнутым зверьком.

— Сюда, сюда... — торопил Ардальон Порьфиревич.

Он схватил Сухова за руку и увлек его за собой — к парадной двери. Включил в прихожей свет. Цепочка, крюк, замки — покорно повиновались быстрой и уверенной руке человека.

Несколько секунд оба прислушивались, что происходило на лестнице; чуть-чуть приоткрыли дверь: потянуло сыростью, холодом. Где-то внизу хлопнула дверь, и два раза повернули прищелкивающий ключ: кто-то вошел в квартиру.

И опять — мерзлая тишина. Только стучал по клеточкам стекол большого неисправного окна подстегиваемый ветром косой дождь.

Оба громко втянули в себя влажный воздух: показалось, что запахло свежим мякишом разрезанного арбуза.

— Иди! Живо! — толкнул Сухова Ардальон Порфирьевич. — Только не беги во дворе... понимаешь?

— И ты сюда?

— И я.

Сухов начал быстро спускаться по лестнице.

... Вот, два шага — и можно уже очутиться в своей собственной квартире: никого не бояться, все случившееся — продумать. Ардальон Порфирьевич так и хотел поступить, — одной ногой уже очутился на площадке, — но вдруг быстро попятился, тихо и медленно закрывая за собой парадную дверь.

Осторожность руководила теперь всеми его поступками. Он заранее предусматривал те пути, по которым может пойти следственная власть. Если кто-нибудь увидит во дворе незнакомого, плохо одетого человека (Сухова) выходящим из парадного подъезда флигеля, то обязательно уж вспомнит о нем, как только узнает о случившемся преступлении в третьем этаже этого же флигеля. Это было бы особенно опасным, потому что поврежденный бельмом глаз Федора Сухова мог послужить наилучшей приметой. Кроме того, и он сам, Адамейко, мог, при известном стечении обстоятельств, вызвать к себе некоторое подозрение, учитывая, что кратчайший

нуть для преступника, чтобы скрыться, — маленькая площадка, разделяющая обе парадных двери.

Может быть, это последнее соображение было и не столь верным и обязательным впоследствии для розыскной власти, но оно, как и первое, решило дальнейший ход поступков Ардальона Порфирьевича. Надо думать, что мысль эта пришла потому, что он сам, Адамейко, ясно сознавал уже свою преступность, — поэтому и был излишне осторожен.

Повернул два раза ключ в замке, надел железный крюк, цепочку: запер парадную дверь точно так, как это делала вдова Пострункова. И — выбежал на дыпочках из прихожей, забыв выключить там свет.

«Вот и все»... — уже поджидала торопливая, неровная мысль. А глаз внимательно обвел гостиную: вот — два симметрично стоящих друг против друга диванчика, письменный стол и черный лакированный... Глаз увидел: черный столик и на нем — блюдо с пирожочками: блюдо не на своем месте!

Показалось Ардальону Порфирьевичу, что принесено было это блюдо из прихожей, — он схватил его и отнес туда, чтоб поставить на высокую деревянную колонку, стоявшую рядом с зеркалом.

Теперь только он заметил, что свет в передней не выключен.

Ардальон Порфирьевич бережно поставил блюдо на колонку и протянул уже руку к выключателю. Вдруг поблизости что-то громко зашуршало, — и он испуганно отдернул руку: две мыши, одна вслед за другой, пробежали по прихожей.

— Ох, ты... гадость! — вырвалось вслух у Ардальона Порфирьевича, он добавил, редкое для себя, нецензурное слово.

«Почуяли пирожочки, Николай Матвеевич!» — с брезгливой и злой ухмылкой подумал он.

И, сам не зная, для чего он это делает, — Ардальон Порфирьевич схватил с блюда несколько штук и, завернув в лежавшую тут же бумагу, сунул их к себе в карман.

Чуть-чуть сбоку он увидел в этот момент в зеркале свое лицо. Несколько секунд он всматривался в свое отражение, как будто проверяя его: не претерпело ли лицо каких-нибудь изменений, на которые мог бы обратить внимание первый встречный во дворе.

Но оно было таким же, как всёгда.

Такое же кругленькое, чуть-чуть одутловатое, почти без всяких следов растительности — как у скопца. Такая же кожа на лице: немолодая, покрытая разорванной паутиной мелких морщинок и сухая — давно спрессованный лист.

Маленький, птичий нос, воспаленные, на первый взгляд — гноящиеся, набухшие веки и — болотные огоньки желтеньких глаз — мечтательно-печальных, с легкой иронией. Влажные глаза.

Все то же — без изменений. И только вздрагивает сейчас, убегает в уголок рта сморщившаяся нескладной гармошкой верхняя вदनорозовая губа.

... Ардальон Порфирьевич выключил свет и побежал к выходу.

Уже закрывая дверь, услышал, как вдогонку ему обиженно повизгивал белый шпиц.

На лестнице никого не встретил.

Вышел во двор — и обрадовался сырому размашистому ветру и сытым каплям дождя.

## ГЛАВА XV

На Обводный пришел в тот же день, через два часа после убийства вдовы Пострунковой.

Резко и торопливо позвонил. Прошло несколько томительных секунд, — никто не открывал. Только залаяла за дверью собачонка, но и то сразу же умолкла, словно кто-то зажал ей с силой тоненькое, узкое горло.

Наконец, раздался глухой и дрожащий голос Сухова:

— Кто здесь?

— Открой, это я..

«Уже боится... ждет», — подумал Ардальон Порфирьевич, входя в квартиру.

Правда, — лицо Сухова было бледно, и глаза глубоко ввалились, потускнели, так что почти не заметна была сейчас разница между обоими — здоровым и поврежденным. Взгляд был мутный, нездоровый.

— Все хорошо! — нарочито бодро сказал Ардальон Порфирьевич, проникаясь жалостью к испуганно смотревшему

на него Сухову. — Все кончено и... хорошо! — повторил он опять, присаживаясь на единственный стул, стоявший в комнате.

Ни шляпы, ни пальто он не снимал, словно предполагал быть здесь недолго.

— А ты как — благополучно, Федор Семеныч?

— Благополучно, да невесело!

Сухов смотрел исподлобья, растерянно.

Он подошел к Ардальону Порфирьевичу и не то укоризненно, не то жалобно покачал от плеча к плечу головой, — вдохнул тяжело и протяжно.

Он, по привычке, хватал щипчиками ногтей свой подбородок, хотя он был теперь совершенно гладок, вчера еще выбрит, — и ноггам не за что было уцепиться.

— Глудость! — нахмурился Ардальон Порфирьевич. — Выдержка — вот что и есть главное! И еще вот главное: надо любить, обязательно любить и ценить свою жизнь собственную! Без этого нельзя. Ребята, пойдите сюда... — позвал он обоих детей, молчаливо стоявших поодаль.

— А не докопаются?... — все еще продолжал тревожиться Сухов. — И, главное, случилось не так, как думал... Может, если б знал...

— Не дури! — прервал Адамейко. — Галочка! Я обещал тебе сладенького и вкусенького.

— Обещали, дяденька! — в один голос отозвались, радостно оживившись, дети.

— Ну, вот, значит, и выполняю...

Он растегнул пальто и засунул руку в один из оттопыренных карманов брюк, стараясь что-то вытащить оттуда. В кармане шуршала бумага. Дети следили за ним с нескрываемым любопытством. Губы Павлика размякли, обелюнились, и темные глазки свои он таращил наивно и смешливо: на маленький лобик легли, одна под другой, две тоненьких нитки морщинок.

— Это тебе, «кормитель отцовский», за выслугу лет! — усмехнулся Ардальон Порфирьевич, протягивая мальчику несколько кругленьких мягких пирожочков. — Дай Галочке. Больше таких уже не будет... «кондитер» уехал! На, кушай...

Но тут случилось то, что известно уже нам из беседы Галочки со следователем Жигадало.

Едва мальчик успел протянуть руку, как Сухов быстро наклонился над Ардальоном Порфирьевичем, схватил с его ладони липкие пирожочки и бросил их наземь.

— Не смей притрагиваться... слышь! Не позволяю... Чтоб и в доме у меня их не было! Собака пусть жрет...

Вспышка неожиданной злобы, перемешавшейся с безотчетным испугом, покрыла пятнами бурого румянца его лицо, до того — тихое, понурое.

— Не позволяю! Не смей! — кричал он, уже не в силах сдерживать себя. — Надругательства не позволю!

Он отшвырнул ногой пирожочки в дальний угол комнаты. Собака бросилась за ними, и через минуту оставался только липкий, неряшливый след. Белый шпиз слизнул его языком.

— Не хочу, не надо... — уже тихо, извиняющимся тоном, говорил Сухов. — Неприятно мне это...

— Первы! — нахмурился Ардальон Порфирьевич. — И несдержанность характера — вот что! Может привести это к опасным результатам. Понимаешь? А этого никак не должно быть, — сделал он многозначительное ударение на слове «этого». — Потому глупость это будет величайшая. Что выйдет тогда? — встал он и подошел вплотную к Сухову.

И шопотом уже:

— Подумай только, глупость! Вот так заметь: одна, уже мертвая, жизнь сильнее, чем две настоящих, а?! Ведь так? Да что две! А это что?... — и он махнул рукой в сторону выходящих в соседнюю комнату детишек. — Как скажешь? — уже громко опять продолжал Ардальон Порфирьевич.

— Это верно ты говоришь. Спасибо. Мне, ведь, крепкое слово нужно. Поддержать чтоб... не забыть. Я вот видеть тебя хотел. Думал, значит: если не придет сегодня, — сам побегу к нему, непременно побегу. А потом вспомнил: рядом ведь ты с ней, близко очень, — и побоялся!

— Ко мне ходить не надо, — назидательно вытянулся указательный палец Ардальона Порфирьевича. — Нервность это одна, говорю тебе, и больше ничего.

— Тянуло шибко...

— А ты вожжи держи! Слабость эта твоя может, кому нужно, след открыть. А никакого другого следа нет у них, не будет! — зло и насмешливо улыбнулся Ардальон Порфирьевич.

— Правда? — Карий глаз смотрел кругло и марко — Не будет?!

— Никак! Обдумал я, — и выходит, что не оставили им ни одного кончика! Но...

Указательный палец опять уставился в лицо Сухова:

—... Одно дело — не оставить старых кончиков, а другое — не показать новеньких. Вот тут-то и важна, заметь, осторожность. Спишь, а про нее не забудь — вот что! Вот уже одна глупость, — чушь тише продолжал Ардальон Порфирьевич. — Зачем пирожочки ногами топгал? Кричал для чего, злился? У детей по этому случаю одно непонимание — да и только. Подозрения у них никакойшего, конечно, но если б кто посторонний тут приключился, — что тогда? Глупость!

— Противно мне теперь, чтоб дети...

— Понимаю! Ладно! А все-таки на вожже держать себя следует — вот что! деньги ты где держишь? — неожиданно переменял тему разговора Ардальон Порфирьевич.

— Там... там, в кухне! В подоконнике — дыра там такая есть, но сразу не увидеть. Я сейчас тебе... сейчас, — заволновался Сухов.

Он сделал несколько шагов по направлению к коридорчику, ведшему в кухню.

— Постой! — задержал его Адамейко. — погоди... Я не для этого тебя спросил. Совсем не та цель у меня. И не за тем я пришел...

— Но тебе ведь... следует... твоя тут половина... — озадаченно шептал Сухов.

— Я тебя по-дружески спросил: в настоящем ли, в верном ли месте все у тебя, — понимаешь? Опять же насчет осторожности.

— Место верное. Вот только для тебя... расковыряю там и опять закрою. Может, сам посмотришь, — не считал я еще их... трогать не хочу. Холодные... холодные они будто!

— Опять выдумка... нервы — вот что! Пускай лежат там.

— А чего ж ты брать не хочешь? Ардальон! Сам, может,

бонься... их... а?! Мне их теперь оставляешь?! Прикасаешься... не желаешь?

Сухов смотрел испуганно, подозрительно.

Вот, — если не будет сейчас ответа, немедленного ответа, — запрыгают ничем уже не сдерживаемые губы, дернется в испуге вытянутая челюсть, и все смуглое лицо, — крепкое тупыми буграми своих скул, — задергается и запрыгает, в миг изломает в истерическом волнении чертеж своих упрямых твердых линий...

— Прикасаешься ты к ним не ж-желаешь?

Ардальон Порфирьевич безошибочно угадал душевное состояние Сухова.

— Брось, Федор! — резко сказал он. — Плевать мне на свои страхи. «Прикасаешься, прикасаешься» — подумаешь! — перекивлял он оторопевшего Сухова. — Я деньги возьму у тебя, слышишь? Возьму, как и уговаривались. Но только не сейчас.

— Почему так?

— Неудобно мне сегодня. Свои соображения имеются: семейные... ну, в общем, жены касаются, — вот и все! Пускай там лежат у тебя в дыре, и сам ты их первое время не трогай, не трать. Понимаешь? Расходов не делай лишних, — гляди, соседи внимание еще обратят! Верно я говорю?

— Верно... — согласился Сухов, вновь успокаиваясь. — Я и сам так думал. — Возьмешь, значит, ты? Не обманываешь? — в последний раз переспросил он и пытливо посмотрел в прищуренные глаза Ардальона Порфирьевича.

— Перекреститься тебе, что ли? — Так я не верующий — и тебе не советую! — иронически усмехнулся Адамейко.

... Через пять минут Ардальон Порфирьевич расширился с Суховым.

Уже у самого порога Сухов остановил его и напомнил:

— Ты обещал прийти. Приходи, слышь, завтра, а? Непременно.

— Приду, приду, — торопился Ардальон Порфирьевич. — Раз сказал, значит, — приду. Нервы подвинти только!

— Завтра, завтра обязательно: вместе и к Ольге, жене, сходим в больницу.. Проведать следует. Как ты?

— Я?... Я... конечно, обязательно. Приду, словом, — вот что! — быстро шагнул на площадку Ардальон Порфирьевич.

Он солгал: никогда больше он не бывал в квартире на Обводном, а Ольгу Самсоновну уже увидел только в суде, когда давала она свидетельские показания.

Показания эти были не в пользу Ардальона Адамейко, так как Ольга Самсоновна, не смущаясь, рассказала судьям о встречах своих с ним у Резвушиной, о неоднократных предложениях Адамейко сожительствовать с ним тайно от мужа и вообще отзывалась об Ардальоне Порфирьевиче, как о человеке хитром и корыстном, «принесшем несчастье в ее семью»...

Показания Ольги Самсоновны были бы еще убедительней для суда и опасней для Ардальона Адамейко, если бы она могла знать истинную причину того несчастного случая, который вынудил ее свыше недели пролежать в больнице... Все это осталось неизвестным суду; потому что Ардальон Адамейко, прямой виновник этого несчастья, ни одним словом об этом не обмолвился.

Случай же этот с Ольгой Самсоновной дал защитнику отличный повод указать на чрезвычайно тяжелые семейные обстоятельства, в которых все время находился Сухов, «не сумевший потому сохранить свое душевное равновесие»...

Но если на суде не было узнано об этом новом и последнем преступлении Ардальона Адамейко, — то, по обязанности повествователя жизни Ардальона Порфирьевича, мы сделаем свидетелем этого преступления его самого, нашего читателя. Но сделаем это в свое время, несколько позже.

Адамейко солгал Сухову.

Он солгал в этот день и жене своей, Елизавете Григорьевне, так же, как и Сухов, не почувствовавшей этой лжи.

За обедом Елизавета Григорьевна сказала:

— Я принесла деньги, чтобы отдать Варваре Семеновне. Если ты хочешь, — возьми, занеси ей. Если только хочешь, конечно, — а то я сама отдам ей...

— Пожалуйста... хочу, — секунду подумав, ответил Адамейко и неожиданно поперхнулся супом.

Закашлялся так сильно, что обеспокоенная Елизавета Григорьевна хлопотливо вскрикнула:

— Прости... Может быть, я действительно мелких косточек не отцедила?

— Да, да... ничего... — продолжал кашлять Ардальон Порфирьевич, хоть кашель уже не рвался наружу.

Никакой вины за Елизаветой Григорьевной на этот раз не было. А если и была, — то только в том, что напомнила о соседке. Но этого уже было достаточно, чтобы Ардальон Порфирьевич на минуту смутился и заволновался: все эти часы его не покидала мысль об убитой вдове Пострунковой, — однако, он мог владеть собой; но совсем по-иному он почувствовал себя, как только жена назвала ее имя и заговорила о ней, как о живой.

Но отказываться на этот раз от поручения Елизаветы Григорьевны не входило в намерения Адамейко. Наоборот, созревший в течение минуты план натолкнул его на твердый, решительный ответ.

Ардальон Порфирьевич, откашлявшись, сказал:

— Оставь мне деньги: я передам их через час Варваре Семеновне. К тому же, у меня с ней деловой разговор должен быть: жильца она просила найти...

— Когда это она просила?

— Когда?.. — слегка смутился опять Ардальон Порфирьевич, поймав себя на ошибке. — Ну, что значит — когда? В воскресенье еще просила меня об этом... Я ей нашел жильца.

— Кого? Как фамилия? — выспрашивала Елизавета Григорьевна.

«Фамилия? — Жигадло!» — внезапно юркнула, как из подворотни котенок, нечаянная мысль, — но Ардальон Порфирьевич во время себя сдержал.

И неторопливо, стараясь казаться безразличным, он внятно и медленно сказал:

— Фамилия его — Башмачкин, Акакий Акакиевич. Счетовод из Пенькотреста, по девятому разряду. Мой знакомый.

Он шутил. Он сохранил еще силу для шутки, но, — то ли потому, что Елизавета Григорьевна уже не слышала (она относил тарелки в кухню), то ли неизвестен был Елизавете Григорьевне бессмертный титулярный советник, рожденный Гоголевским гением, — шутка сошла за точный и правдивый ответ...

Ардальон Порфирьевич иронически и самодовольно улыбнулся. И то, что сам почувствовал свою улыбку, — придало уже спокойствия и бодрости.

С таким точно настроением он вышел спустя час из дому, чтобы начать осуществление своего нового плана: устроить так, чтобы несколько соседей-жильцов стали невольными свидетелями того, как он, Адамейко, усердно стучался в квартиру вдовы Пострунковой, желая огдать следующие ей деньги.

Читатель уже знает все подробности, сопутствовавшие осуществлению этого плана Ардальона Адамейко, и нет нужды поэтому вновь их описывать. Некоторые из них, однако, требуют, хотя бы кратких, пояснений.

Стоя у дверей Пострунковой и стуча в них кулаком, Ардальон Порфирьевич, не теряя в общем решимости и бодрости, почувствовал вдруг на одну минуту лихорадочный приступ страха, точно такой же, какой он испытал однажды, представив себе, как кто-то убивает Варвару Семеновну в то время, когда она возится у открытого нижнего ящика комода, а он сам, Адамейко, слышит это убийство, сидя в соседней комнате...

Непонятное случилось с Ардальоном Порфирьевичем: было страшно не от того, что действительно произошло сегодня утром, а от того, что подсказывало ему обостренное воображение еще несколько дней тому назад.

И в эту минуту, живя тем прошлым, почти ирреальным, — он, как и тогда, мучительно захотел теперь хоть на одно мгновение услышать хотя бы один звук — обычный, знакомый, — говоривший о присутствии жизни в этой зловеще молчавшей квартире.

Ошибкой было бы думать, что в этот момент он сожалел о случившемся сегодня утром или раскаивался. Ни того, ни другого чувства Ардальон Порфирьевич не испытывал: он не хотел сейчас осознать случившееся, он думал о том, как бы сейчас отмахнуться от него. И все это для того, чтобы еще больше укрепить в себе бодрость и решимость, чтобы до конца сохранить свою волю.

Вот почему, когда услышал визг и лай собаки, — мысль уловила звук, верней — уцепилась за него, как растерявшийся

седок за гриву понесшей лошади, — Ардальон Порфирьевич рефлекторно уже — совершенно ясно и точно, — представил себе все детали того, что должно было происходить сейчас в квартире. А недавнее пребывание его в квартире Варвары Семеновны наилучшим образом способствовало тому, что в памяти всплыли теперь все вещественные мелочи — альбом, ваза, огрызки каравдаша: он инстинктивно уже удлинял свою мысль, удлиняя тем самым и время, в течение которого казалось самому, что ничего страшного на самом деле не произошло, и что вот вот все это подтвердится: знакомый голос спросит: «Кого надо?», а он, Адамейко, как всегда, ответит: «Откройте, Варвара Семеновна: это я — Ардальон Порфирьевич»...

Но этого не случилось, и в дальнейшем Ардальон Порфирьевич трезво думал только о том, как бы лучше замести следы необнаруженного еще преступления.

Действительно, ничто вначале не напоминало о нем. Только, спускаясь уже по лестнице, Ардальон Порфирьевич неожиданно увидел молчаливо прикурнувшего «свидетеля». Но в первое мгновение он не встревожил и, наоборот, — вызвал к себе ласку: он ведь был бессловесным, совсем неопасным «свидетелем» — этот серый, дремлющий кот! Настолько неопасным, что вот, — точно, чтоб проверить и себя и кота, — можно ударить его, озлобить, — а он, серый, непонятливый кот, никогда не сможет отомстить...

Живой, но не уличающий свидетель! Но вот другой, недоушеленный, — он словно притаился, выжидает, он существует, потому что, при всей осторожности Ардальона Порфирьевича, в памяти его произошел провал, столь непонятный как будто на первый взгляд, но вполне объяснимый: все мышление Ардальона Порфирьевича было направлено на людей и предметы в овне, их только и отмечал осторожный и зоркий глаз преступника, за ними только и следила память, ищейка с острым нюхом; то же, что было совсем близко, что было на нем и с ним, Ардальоном Адамейко, что было упрятано от него самого, — того не упомянул.

И только мысль о булочной, куда направлялся, возвратила его памяти сцену с пирожочками в квартире Сухова, вспомнил

о бумаге, оставшейся лежать в левом кармане, — сунул туда руку и нащупал тотчас же мягкий, липкий пирожочек...

Нет, и трехлетнему ребенку нельзя доверить его, — отобрал, выбросил в канаву!

А когда, спустя час, вместе с другими вошел в квартиру вдовы Пострунковой, — испытал в последний раз душную, ударившую в голову минуту страха и, в то же время, изумления: батистовый розовый платочек, словно живое существо, ехидно и насмешливо мигнул ему, лежа у ножки зеленого диванчика: «Лицо свое вытирали, с собачкой тут играли и уронили-с! Спешите поднять, а то ведь могу?..» И он поднял.

«Все, — теперь все, кажется...»

— Чистенько сработано, — видеть, опыт большой! — сказал кто-то громко и уверенно, когда все уже выходили из квартиры.

Ардальон Порфирьевич ощутил прилив горячей радости: значит, действительно, — следов никаких.

Оглянулся, посмотрел на милиционера и с азартом сказал:

— Вот уж сволочи! И заметьте, товарищ, — хоть бы маленькую улику оставили?! а?

Милиционер сплюнул сквозь зубы. Не ответил.

Если бы кто-нибудь из случайных прохожих пожелал последовать за неизвестным ему гражданином, одетым в наглухо застегнутый пиджак с поднятым кверху лилейчатым бархатным воротником, с глубоко надвинутым на лоб картузом, — последовать в тот момент, когда этот бедно-одетый человек входил в первый же на пути магазин, а потом вышел вслед за неизвестным и заинтересовался его дальнейшими поступками, — любопытный прохожий этот был бы немало изумлен тем, что довелось ему увидеть.

Но, если бы этим прохожим оказался один из наших читателей, он сразу узнал бы в неизвестном гражданине безработного наборщика Федора Сухова, и все поступки этого человека не показались бы уже столь загадочными.

Они заключались только в следующем:

Войдя в магазин, Сухов требовал для себя чего-либо (старался — подешевле, только для того, чтобы не вызвать к себе особенного внимания продавцов) и, расплачиваясь уже

у кассы, торопливо вынимал из кармана, держа осторожно, — двумя пальцами, — за кончик, беленький червонец и бросал его на столик кассирши.

Иногда его спрашивали:

— Нет ли помельче? У меня совсем почти нет мелочи: я только что принял кассу.

— Нет... нет! — отчего-то волнуясь, отвечал Сухов, стараясь не смотреть в лицо кассирши.

И тотчас же добавлял:

— Пожалуйста, отпустите меня. Могу еще на полтинник чего купить. Только уж, прошу вас, отпустите меня: времени у меня нету, вот что...

Приходилось или покупать еще чего-нибудь, или кассирша и так уже внимала просьбе торопившегося покупателя.

Брал сдачу, бумажки аккуратно складывал в один карман, медь и серебро — в другой и, захватив с прилавка покупку, быстро выходил на улицу.

Через несколько минут покупки уже не было в его руках. И происходило это так:

Когда проходил мимо реки или по малолюдной улице, или, наоборот, — попадал в густой водоворот толпы, — незаметно бросал сверток в воду или под ворота какого-нибудь дома, или ронял его на панель, — чтоб растоптали прохожие.

Но иногда кто-нибудь замечал, как падала на землю покупка Федора Сухова (чаще всего наблюдательность эту обнаруживали старики и дети), тогда его услужливо окликали, и Сухов, с благодарным бормотанием, подымал сверток, — чтобы через пять минут вновь от него избавиться. Упорство, с каким Федор Сухов старался «терять» эти покупки, объяснялось деликом его душевным состоянием, в котором он находился после знаменательного дня девятого сентября.

Двое суток он поджидал к себе Ардальона Порфирьевича и ни разу за это время не прикоснулся к деньгам вдовы Пострунковой.

Он с волнением ждал той минуты, когда половину всей суммы (которую, кстати сказать, и не считал) заберет с собой Адамейко: как будто оттого, что в дыре подоконника денег станет меньше, — они не так, как теперь, будут устрашать,

жечь и без того разгоряченную, плавкую мысль его, Сухова, и непрерывно почти возвращать память его к роковому хмуруму утру, когда убил...

Сознательно совершив ограбление, Сухов гнал от себя все то, что могло бы теперь напоминать об его преступлении. И он боялся денег, которыми завладел. Но, как ни странно на первый взгляд, — он боялся только этих денег, этих червонцев: на каждом из них ему чудился живой, не умерщвленный отпечаток теплых пальцев их мертвой хозяйки.

И, когда впервые решился прикоснуться к этим деньгам, твердо уже знал, как следует с ними поступить.

С первым же червонцем побежал далеко от дома, на Сенную, купил там две коробки папирос, и, когда расправленный спокойной волсатой рукой торговца, смятый раньше червонец исчез в дубовой шкатулочке, — Сухов несдержанно радостно крикнул и с такой же несдерживаемой ухмылкой начал пересчитывать сдачу. Вот три трехрублевки, зелененькие, тихие, спокойненькие; вот серебро — спокойное, легкое и шаловливое, как показалось... Это «обыкновенные»: беззлобные, покорные.

Отошел в сторону от торговца и разорвал бандероль на одной из коробок, намереваясь закурить. Внезапная мысль мелькнула остро, предостерегающе: ведь куплено... папиросы-то эти ведь куплены именно на тот червонец?

И — папиросы уже показались мстительным подарком умерщвленного дубовой шкатулкой червонца: они лежали в коробочке тоненькими белыми обрубочками чьих-то похолодевших пальцев.

Сухов злобно сжал в руке обе коробки и бросил их под ноги медленно проходившей сбоку ломовой лошади. Тяжелое копыто вдавило одну из них в грязное земляное тесто; что случилось со второй, — Сухов не видел.

Особое суеверие овладело им с этого момента: он каждый день разменивал червонцы вдовы Пострунковой и каждый раз избавлялся от того, что на них покупал.

Дети и сам он — обедали уже все эти дни. Ольге Самсоновой отнес в больницу два крупных, полуфунтовых яблока — антоновки. И не знал еще точно, как следует поступать

с деньгами: все еще поджидал к себе Ардальона Порфирьевича. Но тот не приходил.

Встреча же их, — последняя встреча на свободе, — произошла тогда, когда оба меньше всего ее ожидали. Впрочем, неожиданность ее слабее всего отпечатлелась в сознании Федора Сухова, потому что в этот вечер он был немало пьян, а такое состояние человека, как известно, сильно предрасполагает к тому, что всякая случайность воспринимается как нечто закономерное и должное.

Описанию этой встречи, равно как и пояснению некоторых обстоятельств, не совсем еще ясных, вероятно, читателю, и посвящена следующая, последняя глава нашей повести.

## ГЛАВА XVI.

Сухов вышел из пивной и, сделав несколько шагов, наткнулся неожиданно на знакомую фигуру Ардальона Порфирьевича: Адамейко стоял у стеклянной витрины кино-театра и внимательно рассматривал освещенные электрической лампочкой большие глядцовитые фотографии американского фильма. Стоя спиной к Сухову, Ардальон Порфирьевич его не видел. И, когда на плечо легла вдруг чья-то тяжелая, твердая рука, Адамейко удивленно оглянулся, никак, однако, не ожидая увидеть безработного наборщика.

— Пойдем... пойдем сюда! — глухим, придавленным голосом сказал тот.

Рука не отпускала сутуловатого, костистого плеча, и пальцы крепко ухватили сукоинное пальто.

— Пойдем, пойдем, — повторял настойчиво Сухов. — Ты зачем тут картинки смотришь, а? Тебе, гражданин мой Ардальон, не такие картинки нужны... а? Не отпущу теперь! Не отпущу!

— Я и не ухожу... и не хочу уходить, — стараясь казаться равнодушным и спокойным, сказал Ардальон Порфирьевич и протянул ему руку. — Здравствуй. Ну, теперь отпусти...

Он освободил свое плечо и внимательно посмотрел на Сухова.

— Ты выпивши и глупостей надеть можешь — вот что! — тихо и серьезно продолжал Адамейко, опасливо поглядывая

по сторонам. — Ты пойдй домой, — как друг, тебе говорю. Ведь соображать тебе трудно сейчас, — как скажешь? Иди, иди... После это мы с тобой встретимся.. Я тут жену свою поджидаю — в кинематограф пойдем.

— Врешь, — не отпущу я тебя! — почти выкрикнул Сухов, и толпившиеся у витрины прохожие с любопытством посмотрели на обоих собеседников. — Слышь, Ардальон: подлости не хочу, не потерплю — р-рабочий я человек, пр-рямой, значит!

Пришлось уступить ему: боясь возможного скандала, Ардальон Порфирьевич взял Сухова под руку и, неестественно тихо посмеиваясь, отвел его в сторону.

— Ведь не соображаешь, плохо соображаешь — вот что! — растерянно повторял Ардальон Порфирьевич, увлекаемый своим спутником в одну из прилегающих к проспекту Рот. — Ведь пьяный ты, совсем пьяный — так? — Какой же тут разговор с тобой!

И так же, как и Адамейко, Сухов, широко и размахисто шагая, твердил одни и те же слова:

— Не соображаю, говоришь... а? Нет, все соображаю, обязательно все. Ноги, — это верно, — пьяные... Факт! А голова — никак! В полном соображении, в полной я памяти. Вот сейчас, сейчас увидишь... Гм, не соображаю! Ловец!

Он словно нарочно оттягивал нужный разговор, не находя еще для него удобного места. Он вел своего спутника по серой, неосвещенной улице, иногда вдруг останавливаясь и озираясь по сторонам.

— Куда ж мы идем? — спросил Адамейко и попытался освободить свою руку, крепко прижатую локтем Сухова.

— Куда? Разговаривать... для полного выяснения. Чтоб до самой точки, значит. Сверстать, значит, и концевочку поставить!

Ардальон Порфирьевич не понял значения последних фраз наборщика Сухова, но почему-то представилось, что в словах этих заключена какая-то угроза пьяного озлобленного человека, — и на минуту Ардальон Порфирьевич испугался.

— Разговаривать? Ну, что же... — поспешил он выказать свое согласие. — Пожалуйста. Я, заметь, сам даже хотел. Насчет общего нашего, понимаешь? Ну, вот. Радостное даже хотел рассказать... Интересно очень.

— Про что это?

— А вот видишь! — понемногу овладевая собой, хитрил уже Ардальон Порфирьевич, довольный тем, что удалось заинтересовать Сухова. — Может, ты и сердиться и ругаться задумал, — а я так и обидеться на тебя не хочу. А почему? Состояние твое понимаю — вот что! Только состояние это — глупость и нервы одни. Все, как говорится, проходит, а себя каждый человек должен для жизни, заметить, оставить. Не так?

— Про что это, интересно? — хмуро выспрашивал Сухов.

— Ну, вот... Сообщить хотел я тебе новость одну важную, — наклонился к своему спутнику Ардальон Порфирьевич. — Насчет того самого... общего нашего. Управдом наш рассказывал. Дело, — говорит, — темное, и чтоб открыть его, — так ни-ни! Вот что! К тому же, справедливо, — говорит он, — покойница — гражданка неприметная, для общества неинтересная, одинокая, — и власти, будто, — следственные власти! — никакой охоты к выяснению данного происшествия не имеют. Управдом наш, заметь, в курсе всего этого, понимаешь? Ну, стой... Куда дальше, а?

Они вышли к Измайловскому проспекту и остановились на углу.

— Куда ты хочешь итти? — повторил свой вопрос Ардальон Порфирьевич.

Сухов и сам не знал, куда точно они направлялись. Охмелевший, но не потерявший сознания, — он знал только, что нужно найти безлюдное, схоронившееся в вечерней темноте место, где можно было бы, — без всяких опасений быть услышанным, — разговаривать о том, что так волновало его вот уж несколько дней.

— Вот... вот сюда! — поволок он за собой Ардальона Порфирьевича по направлению к маленькому скверу у Троицкого собора.

Ни в самом скверике, ни возле собора никого не было, и Сухов, усевшись на скамейку рядом с Ардальоном Порфирьевичем, уже не сдерживая себя, заговорил:

— Ну, встретились... Так, значит. Вдвоем. На весь Ленинград, значит, двое только и знают, и никто больше... а? Как же это им-то, двоим, не чувствовать — понимаешь —

чувствовать!— друг дружку... а!? Ведь обязательно надо чувствовать... Как ты про это скажешь? Ну?

— Н-да...— сказал Ардальон Порфирьевич.— Понимаю.

— Вот именно! Ведь при таком деле влезть, значит, в человека надо... друг в дружку. Ты скажи мне: верно я говорю или неверно?

— Ну, верно... Ты поскорей, знаешь!

— А верно, значит, — при полном сознании я, соображаю все акурат правильно. А ты не торопись, не беги от меня, слышь!— угрожающе сказал Сухов.— Если не узнаю всего, понимаешь — в с ё г о!— если не выпрошу, — хуже ведь будет...

— Да чего ты сейчас хочешь? — тихо спросил Ардальон Порфирьевич.

— Чего? Вот тебе первое: почему за деньгами не приходишь: твои ведь деньги!

— И твои.

— За своими почему не приходишь... а?

— Ну... приду. Чего ты? Успеется...

— Врешь, врешь! Насквозь вижу: обманываешь, не придешь, не возьмешь их! Вижу тебя... дрянь ты человек! Мелкий ты человек. Мелкий, как... как непарель мелкий!— волновался Сухов.— Тебя и не ухватить сразу, не понять тебя сразу. Стой, ты что раньше, когда жива еще она была,— что ты говорил, а? Деньги пополам — так? Говорил или нет? Чего мычишь, худоба?!

— Разговаривали про это...— уклончиво ответил Ардальон Порфирьевич.

— Так, так... разговаривали,— ехидный ты больно, ловец! Врешь ты,— денег ты не возьмешь,— знаю! Тебе они без интереса: спокойствие тебе теперь надо. Боишься их, брезгаешь... Обманщик ты, мелкий ты человек — во. Себе, значит, спокойствие, а другому, значит,— страх! Будь ты проклят... пивка!

Сухов замахнулся, но не ударил: рука медленно поползла книзу и упала на колено Ардальона Порфирьевича.

— Ты пьян и... лезешь драться!— испуганно и обидчиво вскрикнул тот. — Ты думаешь, я камень, не чувствую ничего?...— мягко и жалобно добавил Ардальон Порфирьевич.

— Так ты жалеешь теперь... ее жалеешь?! А ведь что раньше говорил... как подговаривал меня! Думаешь, не помню, а?... Знал ведь ты, говорил я тебе: против убийства я, не хотел я его... За бумажками, понимаешь, — только, значит, за бумажками я шел,— а вышло что?! Сам тогда не признавал себя, потерял я себя тогда. А ты, вижу теперь, знал, обязательно знал, что будет! Меня натравил, а сам теперь жалеешь... Обман, выходит,— сам ты теперь в слова свои... в прежние слова не веришь?! А что говорил! Что говорил только,— целую политику свою новую развел! И поймал меня... Заранее оправдание для меня нащел... Ночи я не спал от твоих слов: думал все...

— И не жалею,— прервал Ардальон Порфирьевич.— И сейчас говорю тебе, заметь! И сам я не отказываюсь от того, что было, не жалею, понимаешь...

Адамейко чувствовал теперь, что необходимо самому проявить инициативу в этом разговоре, который,— благодаря обстоянию, в котором находился сейчас Сухов,— обещал затянуться и мог привести к неприятным для Ардальона Порфирьевича результатам. Сухов волновался, Сухов словно хотел,— если не пережить и перечувствовать,— то осознать вновь все то, что привело его к преступлению, и, главным образом, осознать ту правду, поверить в которую так быстро сумел его заставить он, Ардальон Порфирьевич. Голос ее был заглушен теперь,— но нужно было, чтобы Сухов его вновь услышал. Смятение овладело Суховым,— нужно было внушить ему вновь уверенность в правоте его поступка. Нужно было вместе с ним, Суховым, хотя бы быстро взглянуть на свету их общей памяти эту самую правду. Показать ее вновь—значит, успокоить Сухова.

Ардальон Порфирьевич понял это и пошел навстречу его желаниям.

Он тверже уже и уверенней сказал:

— Совсем не жалею я— вот что! И, как говорил тебе раньше, так и теперь того же мнения, заметь... Важно что? Главное — в глупости не попасться. Не попадаться. Вот это ты и помни: не попадаться! И все будет хорошо. И сейчас говорю: ты живой человек, нужный человек, а... то (он гово-

рил о покойнице Пострунковой в среднем роде) то.. дикое мясо! Не стало его, — никто и не вспомнит, а ты вот, заметь, ты один только и думаешь об этом.

— Думаю... вот словно руками оттолкнуть бы ее!

— А ты рассудком оттолкни — вот что! Ерунда, говорю тебе! Соображаешь?

— Да я все, все обязательно соображаю! — как-то серьезно и вдумчиво ответил. — Хоть и выпил, а держу себя в пропорции!

Он неторопливо вынул папиросы и закурил. Огонь от спички на секунду осветил его лицо, и Ардальону Порфирьевичу показалось, что оно стало спокойней, трезвей. И, впрямь, хмель покидал его.

Ардальон Порфирьевич продолжал:

— Вот и хорошо, друг ты мой... Вот и соображай еще раз. Я тебе как говорил — помнишь? — Пусть Суховы, Ивацовы, Герасимовы, — пусть они на время самостоятельно действуют! Власть, заметь, — государство — «дикое мясо» всякое ради порядка не тревожит, — а кое-кому от этого тяжело приходится, не по заслугам, заметь, тяжело! И несправедливо! Сухов сделает, — помучается, может, притом, а потом пользу для себя поймет. И не для одного пользу, а как говорится, для всего коллектива...

— Думаешь?

— Ну, да! Обязательно так, обязательно. Стихийный, понимаешь, закон. Потому все, что внутри полезного человека, — в сознании, значит, — революция умственная своим чередом идет. А как будет Сухов или Иванов самостоятельно некоторое время действовать, справедливости до конца искать, — так и все мы призадумаемся (обязательно призадумаемся, заметь!) и начнем для них сами выход искать — вот что! Не детишками же промышлять тебе на улице! Не так? И потом, ведь, по совести говоря, не убивал ты... не прикоснулся даже, — чего ж тут мучиться?! Зачем теревить себя?

«Для меня, ведь, мученье еще большее было...» — хотел добавить Ардальон Порфирьевич, но не сказал, и слова эти застряли, как сор — в сите: они были теперь лишними, ненужными, и Сухов мог бы истолковать их как признак слабости

Ардальона Порфирьевича. Адамейко же все время старался казаться спокойным, ничем не выдавать сейчас своей тревоги, справедливо полагая, что этим самым он успокаивает и своего соучастника в преступлении.

— Ну, пойдём! — бодро вздохнул он, схватив Сухова за руку. — Нам с тобой нельзя долго, заметь, в укромных уголках сидеть: если в укромном кто увидит случаем, — хуже это, чем на людях. Понимаешь? Осторожность — вот главное. Не так?

— Так... так, — бормотал Сухов. — Сознаю. Вот именно... Только скажу тебе... Слышишь, что скажу, Ардальон?

— Ну?

Адамейко поспешно встал со скамьи, поднялся вслед за ним и Сухов.

— Вот что, — худоба ты... — продолжал он тихо, — как почувствовал Ардальон Порфирьевич, — угрюмо и злобно. — Вот.. Выходит так, что одолел ты меня. Не иначе, как так... Взял да повел человека за собой. Ведь повел, а? Ну, так... Только в одном проиграл ты!

— В чем? — невольно сорвалось у Ардальона Порфирьевича, и он досадливо подумал о несвоевременности своего любопытства.

— Ага! В чем? Выходит, — сам считаешь, что одолел? Мразь! Не ты одолел, слышь! Не ты — жизнь моя, вот! В главном ты и проиграл. Ну, пошел я, убийцей сам себя называю. Сам! Может, и не выдам себя — верно! А ты проиграл, проиграл!.. — как-то воодушевленно, с упорством повторял он эти слова, бил ими несколько раз подряд, словно азартный стрелок — в одну и ту же точку.

По тому, как он их произносил, слова заключали в себе особый, понятный одному ему, Сухову, смысл, — и Ардальон Порфирьевич, не без основания, с тревогой и все возрастающим любопытством вслушивался теперь в них.

— Програл — говорю тебе, слышь! Случилось так, — все, конечно, с человеком бывает. Дисциплины, значит, человек не выдержал. Пускай! Жизнь на обе лопатки положила — верно! Каинем во всем стал — верно! Вот так... Правильно все. А вот в самое главное твое — не повторил я... не верю теперь, — тут-то твой и проигрыш!

— Во что ж ты не веришь?— осторожно спросил Ардальон Порфирьевич, медленно направляясь с Суховым к проспекту.

— В ехидство твое, в мысли твои.. в политику, слышь! Что говорил ты мне почти каждый день... а? Что?

— То, что и сейчас. Не отрекаюсь, заметь.

— Ну, вот! Не отрекаешься. Потому думаешь — рабочей скотинка Сухов: руки у него только, а мозгов — что кот заплакал! Так?-Врешь! Человек я рабочий — верно... Партийности во мне нету, — мне в это дело не мешаться: характером не вышел... Но понимать самое главное — не отказываюсь! Не отказываюсь, — слышал?! Вот и говорю: проиграл ты, значит, в этом вопросе. Выходило так, что вроде своего нового евангелия (за революцию клялся, худоба...), программку вроде свою сочинил ты... Ловец! Что говорил? Самостоятельно, говоришь... самостоятельно, значит, наш брат, нуждающийся, действовать должен! Ловец! Против это, выходит, против новой... общей, значит, новой жизни... Настоящая «контра» выходит — не иначе! Я вот за себя, за семейство свое — верно! а чтоб вообще против советской жизни — врешь! Со-знаю все, — а врешь! Пью, два дня вот пью, а чтоб ругать кого, — так по сознанию своему не допускаю. Помню я про твои ехидные слова, помню. Не через смерть чью-то справедливость искать — врешь! Мне чего надо? Мне простого надо, потому и сам я простой: работы мне и любви, вот, человеческой... обхождения человеческого. Вот и есть для моей жизни главное. Тут ты и проиграл. Проиграл, говорю тебе! Про это и хотел я тебе сказать, — не знал, как найти только... осторожней только найти...

Они подходили к тому месту проспекта, где Ардальону Порфирьевичу надо было уже свернуть в сторону, на одну из Рот, чтобы направиться к себе домой. Он так и решил поступить. Это решение было тем необходимей, что дальнейшая беседа с Суховым становилась все более и более тягостной и неприятной. Но уйти, никак не ответив на последние его слова, — было уже невозможно; да и Сухов чего-то ждал от него.

Ардальон Порфирьевич нарочито лениво и спокойно сказал:

— Ну, вот... прощай. Встретимся в другой раз — поговорим еще. Обидел ты меня, но я не хочу зла помнить — вот что!

Разные мы с тобой,— это верно. Вот заметь только: корысти у Ардальона Порфирьевича Адамейко никакой не было, да и зла он тебе не желал. Жене своей кланяйся... Ольге Самсоновне. Да, вот еще...

Он, словно вспомнив о чем-то, пошарил в карманах.

— Вот, возьми... Платочек ее у меня случайно остался... Сам и не заметил как,— возьми. Кланяйся!

Не дожидаясь ответа, он быстро зашагал по улице. Сухов минутой постоял на перекрестке и побрел к Обводному...

... Если бы Ардальон Адамейко смог и захотел рассказать кому-нибудь о том, что испытал он во время этой последней беседы,— слушатель был бы заинтересован не только самим рассказом Ардальона Порфирьевича, но и тем, что в рассказе этом упоминались бы два человека, которые, казалось бы, никакого участия не принимали в последней встрече Сухова и Адамейко.

Однако эти лица упоминались бы Ардальоном Порфирьевичем не напрасно, так как мысли его—сокровенные и невысказанные—очень часто обращались к ним: к каждому—по-разному.

Эти два человека были: старик Жигаadlo и Ольга Самсоновна. О них он вспоминал: и теперь, шагая к дому, и много раз—позже.

Встречали ли вы когда-нибудь своего «духовного двойника»? Все одинаково. Большого интереса нет, как наблюдать его... Нет нужды даже убеждаться в полном сходстве с ним,—примечаешь в нем только главное или то, что самому тебе кажется главным, потому что духовный облик каждого человека улавливаешь по тем чертам его характера, которые наиболее всего интересуют тебя самого. Но и тогда уже кажется—все одинаково, все схоже, все твое. И—большого интереса нет, как наблюдать такого человека...

Впервые встретил Ардальон Порфирьевич своего, как показалось ему, «духовного двойника». Это был Кирилл Матвеевич Жигаadlo.

При ближайшем знакомстве с ним Адамейко нашел бы, вероятно, что старик не столь уже схож с ним, как то показалось им обоим при первой встрече у Настеньки Резвушиной.

Но встреча эта так и осталась первой и последней, и впечатление от нее надолго вошло в память Ардальона Порфирьевича.

Мы не допустим ошибки, если скажем, что впечатление это о «двойнике» вызвано было только тем, что Жигadlo неожиданно обнаружил некоторое сходство своих мыслей с мыслями самого Ардальона Порфирьевича, да, пожалуй, и схожую манеру разговаривать, на что обратила внимание и Ольга Самсоновна, участница в беседе.

Ее замечание об этом было подхвачено сознанием Ардальона Порфирьевича и — вслух — стариком Жигadlo, которого мысль об этом сходстве, очевидно, по-своему забавляла. Невольно создалось такое положение, когда оба они, — может быть, даже вопреки своей воле, подсознательно, — старались уже обнаруживать общее для обоих, тем самым заостряя интерес к этой встрече. Впрочем, это больше всего могло относиться к старику Жигadlo, потому что Ардальон Порфирьевич говорил в эту встречу гораздо меньше своего собеседника.

Адамейко возненавидел своего «двойника»; старик с плутоватыми, темной воды глазами и не предполагал, как уязвил он своим разговором сокровенное своего собеседника, — то самое, что Ардальон Порфирьевич считал все эти годы только своим, порожденным своей собственной мыслью и только ему одному принадлежащим.

Нет нужды повторять, хотя бы кратко, разговор в комнате Настеньки Резвушиной, но следует теперь сказать о том чувстве, которое он породил в Ардальоне Порфирьевиче. Он был горько разочарован; оказалось, что не только нашелся человек, который по сокровенному вопросу думал так же, как и он, Адамейко, но, — что неожиданней и горше всего, — мысли эти, очевидно, никого бы не поразили своей оригинальностью, так как тот же старик Жигadlo потерял уверенность в нее, как только сын, Дмитрий Кириллович, совсем легко и небрежно разбил их, эти мысли, — словно мог это сделать каждый на его месте...

Не знал старик Жигadlo, что причинил он маниакально-самолюбивому Ардальону Адамейко!

Но был другой человек, слепо покорившийся разгоряченной, назойливой мысли Ардальона Порфирьевича, сдержанно

которую и сам бы он, Адамейко, не мог: это был Федор Сухов. Так казалось до сегодняшней встречи. И вдруг...

Ардальон Порфирьевич знал уже теперь, что то, что привело безработного наборщика к преступлению, — приводило и раньше и будет долгое время приводить и многих других к тому же, но никто из них, как и Федор Сухов, не делает преступления этого в осуществление его, Ардальона Порфирьевича, и деи.

«Проиграл, проиграл!» — чувствовалось, как глубоким уколом входят в сознание эти упрямые и злобно-торжествующие слова Сухова. И опять в памяти — Жигadlo и Сухов переплелись теперь в сознании, — их обоих ненавидел сейчас Ардальон Порфирьевич.

Иногда мысль вплетала еще одного человека, и в памяти вставал тогда образ Ольги Самсоновны.

Если бы кто-нибудь пожелал наблюдать в этот момент лицо Ардальона Адамейко, — он увидел бы, как беспомощно и нервно шевелился тогда его маленький птичий нос, как судорожно сбегались над опущенными книзу глазами его тощенькие рыжеватые бровки...

Точно так же отразило лицо Ардальона Порфирьевича точно такое же воспоминание его об Ольге Самсоновне, когда увидел ее уже в судебном зале. Но об этом удобнее и лучше всего — в конце нашей повести.

Сухов не предполагал, что будет арестован через несколько часов. Как и не предполагал, что еще задолго до этого ему угрожала та же опасность, правда, ничем с его стороны не вызывавшаяся. Сидел, как и все эти дни, в вивной. Вместе с ним за столиком — два товарища, рабочие той же типографии, где раньше работал.

Больше часа близкой, но все время волновавшей беседы, когда (несколько раз так было) хотелось вдруг встать, ото-звать обоих собутыльников в какой-нибудь укромный угол и просто, как будто они уже знали, о ком идет речь, — сказать: «Один человек только знает... Это я ее... того...»

Вставал, но не для того, чтобы сказать это, — вставал и несколько раз уходил в душный, прокуренный коридорчик, —

чтобы столкнуться с чужими, незнакомыми лицами и в мутн их безразличных глаз утопить свое беспокойное желание.

А потом возвращался к столику и сам ловил себя на хитрой, услужливо-настороженной мысли:

«Денег не покажу. Больше сорока копеек не уплачу, — пускай они платят... Без подозрения чтобы...»

И папиросы брал у товарищей.

Но один раз как-то забыл соблудности осторожность: выволок из кармана коробку «Сафо» и, вместе с папиросами, — маленькую пачечку трехрублевков.

— Богач какой, оказывается! — добродушно улыбнулся один из собутыльников. — Откуда полчка?

(Сухов побагровел, но не растерялся:

— В союзе дали... Поддержка... известно. Другого и думать тут нечего!

— Я и не думаю, Федя!.. Не уворовал же. Хотя, знаешь, у других людей подозрения всякие бывают. Не так, Степа? Как по-твоему?

Рабочий, чуть усмехался, посмотрел на сидевшего сбоку товарища, и Сухову показалось, что тот как-то лукаво и таинственно прищурил глаз.

— Сказать ему, Степа, а?

— Что? — насторожился Сухов.

— Сказать, а? — словно спрашивая одобрения, переспросил Степу рабочий.

— Сказать можно... чего там. Только ты, Сухов, без волнения; значит, и нас не выдавай. В общем, пустяк дело.

— Меня касается... а?

— Теперь нег. А раньше подозрение, говорят, было. В конторе сказывали. Ну, Яшка Стабилов, из третьей наборной, сознался потом. «Я, — говорит, — шриффт украл и продал», — потому жена его при болезни серьезной была. Ну, а знаешь правило такое, приказ такой насчет типографии, — и при старом режиме: коли какой шриффт украден, — подымай на ноги уголовный розыск. Шриффт — что? Для политики какой. Преследуется!

— А про меня зачем вспомнили? — удивлялся уже Сухов.

— То-то и есть... Ты в третьей работал? — Работал. Как расчет получил, — приходил? В наборную-то по старой памяти, так? Ну, вот и подозрение. Особливо — безработный...

— Не на одного его, Степа! Человек на несколько, — на всех контора в розыск заявляла. Служка, видать, за всеми была...

— Дураки! — беззлобно и апатично протянул Сухов.

Через несколько часов его арестовали. Он не знал, как похищение шрифта не сразу покаявшимся Яшкой Стабиловым из третьей наборной случайно привело агента угрозыска, Сергея Жигадло, в квартиру на Обводном.

Арестовавшие спросили также и Ольгу Самсоновну, — и, как ни растерян он был в эту минуту, — резко и горячо ответил:

— Хватит и меня одного! Не виновата она ни в чем, — понятно?! Тревожить жену — ни к чему! В больнице она...

И почти в тот же час уводили из дома и Ардальона Адамейко.

Тупо и слезливо смотрела то на мужа, то на двух незнакомых людей непонятливая Елизавета Григорьевна и, в смятении, забыла надеть на голые ноги тут же, у кровати, стоявшие туфли: ходила по комнате босиком, и оттого еще шире и неуклюжей глядели ее мясистые бока, потянувшие еще больше книзу ее низкое, потерявшее свою обычную форму тело...

Ерунда. Ерунда... — бормотал сухим шопотом Ардальон Порфирьевич. — Недоразумение, наверно, служебное!.. Бывает, замечь, — бывает...

Перед тем, как выйти из квартиры, он подошел к жене и неожиданно крепко поцеловал ее.

Несколько секунд она не отпускала его, всматриваясь в близко склонившееся лицо. Безволосое, сухонькое, как у скопца, оно показалось вдруг Елизавете Григорьевне старым, утратившим чертёж возраста. Но в действительности лицо не претерпело изменений; оно было таким же, как всегда, и, как всегда, по нему трудно было определить возраст Ардальона Порфирьевича, — есть такие лица!

Высоко поднял воротник пальто и вышел на улицу. У ворот дождался извозчик: он с любопытством посмотрел на худенького, приземистого человека, легко вскочившего на подножку.

Суд удалился в совещательную комнату.

Один из конвоиров вывел Федора Сухова, по его просьбе, в «курилку» и «оправиться» (Сухов никак не мог сдержать своего волнения), — и Ардальон Порфирьевич на некоторое время остался один на скамье за деревянной изгородью.

Он не испытывал почти никакой тревоги: необъяснимая апатия и усталость овладели им. В душе была даже какая-то умиротворенность, успокоение.

Точно такое же состояние было у него и много раньше, — сразу после рокового дня девятого сентября, — когда почувствовал, как все то, что так неотступно и назойливо до смерти вдовы Пострунковой занимало его мысли, что стало уже для него самого неосознанной навязчивой идеей, — ушло вдруг, кануло куда-то, не оставив следа.

Может быть, человеку, добившемуся осуществления того, что сам Ардальон Адамейко называл «близкой фантазией», может быть, такому человеку никак уже не чуждо после этого чувство удовлетворенности и безразличия, и чувство это вполне соответствует психическим процессам мышления, непонятым для людей посторонних, — на это, думается нам, могла бы дать ответ научная экспертиза.

Ардальон Порфирьевич почти безошибочно знал, какой отрезок его жизни вдавит через час-другой в каменную клеть таинственная совещательная комната: аккуратное и внимательное чтение газет и, в частности, судебных отчетов научило его запоминать статьи уголовного кодекса, да к тому же, и защитник предупредил его о возможной мере наказания.

Но было другое преступление, о котором никто не знал в этом наполненном людьми судебном зале; в этом преступлении Ардальон Порфирьевич мог только сам обвинить себя, но о нем он умолчал.

Во все время судебного процесса он видел сбоку от себя, на скамье свидетелей, сосредоточенное, нервное теперь лицо: это была жена Сухова.

Когда ее впервые подозвали к судейскому столу, Ардальон Порфирьевич с жадностью и любопытством посмотрел со своей скамьи на приближавшуюся Ольгу Самсоновну. Она шла своей обычной, чуть покачивающейся походкой, но несколько торопливей, чем всегда. В этот момент все в публике с любопытством смотрели на ее лицо («Жена... жена того, бородатого!»), — Адамейко же с легким волнением следил только за ее походкой.

«Здорова... Без костылей...», — было первым его наблюдением и, — не утаил сам от себя, — радостным.

И, посмотрев на знакомое, не изменившееся лицо, освещенное голубым глубоким светом глаз, — невольно уже вспомнил:

«Возвращались вместе от Резвушиной. Шли молча по богатырски-широкому проспекту: Ольга Самсоновна впереди, а он — чуть отстав от нее. Она торопилась домой, быстро шагала. Несколько раз он глухо окликал ее, иногда называя на «ты», — и раздраженно кусал губу и раздувал тоненькие ноздри, когда она вполборота нервно и, как чувствовал уже, презрительно бросала: «Отстаньте! Вам же лучше будет...»

Еще горело и судорожилось его костлявое тело от того, что только четверть часа тому назад произошло в комнате Резвушиной: другое, дурманящее и крепкое, — обороняясь, больно оттолкнуло его, свалило наземь — так, что заныли вдруг ушибленные ребра. А потом Ольга Самсоновна сухо и коротко сказала: «Не скажу Федору потому только, что отквитались вы: Павлика моего спасали, а теперь насиловать вздумали...» Шли молча по улице, и все горячее становилась несдерживаемая уже, воспаленная припадком ненормального желания, мысль: «смять, унижить... перегнуть вот это, отвергнувшее его, казалось раньше, доступное тело...»

У Владимирского — людской водоворот, автомобили, трамваи. Вот один из них с белыми, словно невидящими глазами подбегает к столбу, отмечающему остановку, — и те, кто идут по другую сторону столба, могут уже безбоязненно переходить через рельсы: вагоновожатый опоздал на минуту с тормозом, — туная грудь стали кинулась на лишней метр

вперед, и тот, кто, идя сбоку, смог бы, успел бы еще отдернуть в сторону шедшую на рельсах женщину, не сделал этого, не захотел вдруг сделать, — и сталь толкнула и сбила ее с ног, протащив перегнувшееся тело на предохранительном щите. И почувствовал Ардальон Порфирьевич: припадок кончился!..

...Еще до суда, в тюрьме, Сухов рассказывал о своей жене: в больнице, где лечилась, осталась служить в хирургической палате.

Карий здоровый глаз ухмылялся задумчиво и радостно.

...Ардальон Порфирьевич встрепенулся: из совещательной комнаты тягуче и густо прожужжал электрический звонок.

В зал повалила толпа.

Дежурный газетный репортер вынул блокнот, чтоб занести туда обычное и простое — приговор.

*Ленинград*

*Сентябрь 1926 — февраль 1927*

## О Г Л А В Л Е Н И Е.

---

|                               | стр. |
|-------------------------------|------|
| Глава первая . . . . .        | 5    |
| Глава вторая . . . . .        | 11   |
| Глава третья . . . . .        | 18   |
| Глава четвертая . . . . .     | 28   |
| Глава пятая . . . . .         | 33   |
| Глава шестая . . . . .        | 42   |
| Глава седьмая . . . . .       | 50   |
| Глава восьмая . . . . .       | 60   |
| Глава девятая . . . . .       | 74   |
| Глава десятая . . . . .       | 85   |
| Глава одиннадцатая . . . . .  | 93   |
| Глава двенадцатая . . . . .   | 106  |
| Глава тринадцатая . . . . .   | 120  |
| Глава четырнадцатая . . . . . | 134  |
| Глава пятнадцатая . . . . .   | 147  |
| Глава шестнадцатая . . . . .  | 159  |

1955 г.  
номер 50 н.



Библиотека Российской Академии Наук  
Литературно-художественная библиотека  
Москва, ул. Басманная, 10/12